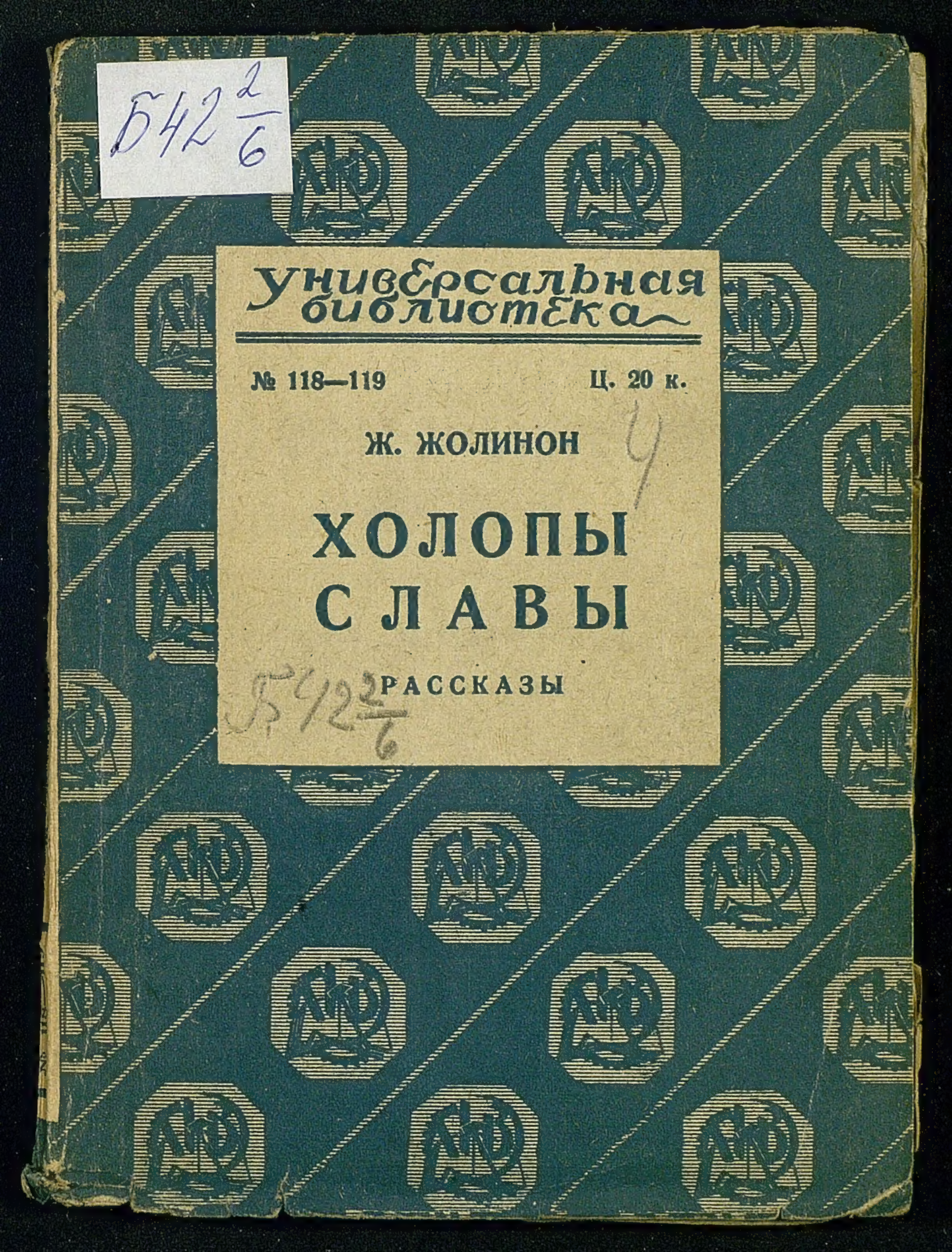


Универсальная библиотека

№ 118—119 Ц. 20 к.

Ж. ЖОЛИНОН

ХОЛОПЫ СЛАВЫ

РАССКАЗЫ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
№ 118—119

Ж. ЖОЛИНОН

ХОЛОПЫ СЛАВЫ

ИЗБРАННЫЕ РАССКАЗЫ

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО
С. Я. ПАРНОК

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА * 1926 * ЛЕНИНГРАД

1-я Образцовая типография Государственного издательства
Москва • Пятницкая 71
Главлит 60081.
Гиз 16057. Тир 15000.



ВЕРДЕН

В июле 1916 года

В бой надо посылать солдат, доведенных до отчаяния: нет людей страшнее отчаявшихся.

Суворов.

В долгие ночи второй зимы, в глубине окопов общее чувство какой-то оторванности от мира об'единяло все отряды. Вспыхивающий огонек трубки освещал грубые, испещренные морщинами лица. Солдаты, вернувшиеся из отпуска, привозили с собою явную тревогу. Дома им вычистили их мундиры, но омрачили их души. Случалось, что солдата эвакуировали оттого, что он заразился от какой-нибудь женщины, и тогда все остальные ему завидовали. Некоторые искали больных женщин, чтобы отомстить своим женам.

— Женам-то на нас наплевать.

— Многие, небось, разбогатеют там к тому времени, когда мы вернемся.

— Говорят, что это затянется до конца года.

— Никогда уж нам туда не вернуться.

— А если мы и вернемся, — что толку?

— До войны оба мои малыша были самыми выхоленными во всем квартале, а теперь я видел, как они в понедельник отправились в школу в продранных башмаках.

— Напиши-ка мне, брат, письмо моей женке, да наговори ей побольше нежностей, — просил Гобле Клода Люнана.

Терзаемый воспоминаниями, бедный Гобле ночью, во сне, пахал свое поле.

— Эй, ты, пошевеливайся! Нно! Вперед, дружище! Нно!.. Эх, тпрр! Передохнем маленько... Тпрр!

Он говорил протяжным простонародным говором, точно пел какую-то старинную жалобную песню. Так и чудилось, что ты в поле и воочию видишь этого пахаря. Сердце надрывалось, слушая его. Даже Жерве не подтрунивал над этим.

Когда в их убежище зазвучали отголоски верденской канонады, они стали радоваться тому, что они под землею.

— Это не касается нас, кротов... Это где-то там, далеко. Ноги у нас обернуты фланелью, — шикарно!.. Да и весна не за горами.

— 1916 год — год победы: так предсказывает нам «Журналь». Новые пушки, боевые припасы...

— Ладно уж!.. А окопы-то дрожат от пальбы. Палят дальше, чем в ста километрах отсюда. Сколько их поляжет там, голубчиков!

Но вместе с весной воскресала надежда. Жерве, срывая цветы на окопах, распевал во все горло:

Время невзгод для нас уже миновало.

Несмотря на взятие Дуамона и на то, что немецкие авангарды яростно рвались в бой, никто не сомневался, что эта битва будет последней. Наступление, широко развернутое русскими в начале лета, подтверждало это блистательное предположение. Но тут-то к окопам хлынули зуавы, и пришлось итти им на смену. Ах, эти зуавы! Они не могли нарадоваться этим прочным, нетронутым окопам, стены которых снизу до верху были обшиты плетнями, а полы устланы плетеными настилками, и этим распустившимся деревьям, и пышной траве, скрывающей ямы, прорытые ядрами, и изобилию сеток и телефонных проводов. Этот сектор казался им столь же благоустроенным, как какой-нибудь тыловой город. Пехотинцы задумчиво вглядывались в их измученные лица, в их опустошенные глаза.

— Так, значит, вы из Вердена?

А они в ответ угрюмо и заносчиво:

— С высоты 304. Хватит там дела и для вас.

— А ваши потери? Много ли у вас...

— От шестидесяти до семидесяти на сто.

— А мы-то? Вы думаете, что и нас...

— Все там перебывали. Чем же ты лучше, образина?

Всех охватило томительное беспокойство, которое, впрочем, рассеялось при выступлении.

Шагать вот так, стройными рядами, по дорогам, глотать свежий ветер просторов, мять ногами полевые цветы, высоко поднимать голову навстречу солнцу, — все это казалось каким-то сверх'естественным приключением. Вот уже пятнадцать месяцев, как роты не видели друг друга. Солдаты решительным движением взваливали на плечи походные сумки. В Бертишоне все, что могло быть выпито, в течение часа перелилось из винных подвалов в желудки солдат. Потом их подобрали двести грузовых автомобилей. Хмель благодаря тряске перебродил довольно быстро, и к вечеру, дефилируя перед генералом, они окончательно протрезвились. Маршировать они разучились. Ноги двигались как-то вяло и медленно. Взводные командиры скомандовали:

— На караул!

Бессмысленные лица повернулись в ту сторону, где развевалось знамя и заливались трубы музыкантов.

Отбивая шаг, взводные командиры скомандовали:

— Равнение направо!

Проходя мимо неистовствующих трубачей, солдаты старались шагать размереннее, а взгляды их говорили генералу: «Оставь ты нас в покое. Чего тебе от нас надо?.. Да и ты не тот, что в прошлом году».

В нем не чувствовалось уже ни прежней надменности, ни прежней требовательности; он не сделал ни одного замечания и удалился какой-то безучастный и чужой, в сопровождении своей бряцающей саблями свиты. Они вздохнули полной грудью. Им захотелось смеяться. По безукоризненно гладким дорогам, как по катку, скользили новые, разукрашенные флажками лимузины. Лужайки мягко покачивали проезжающих по ним всадников. Батальон вступил в зону мундиров, богато декорированных орденами, в зону военных советов, изысканной кухни, картежной игры и эвакуационных госпиталей. Парки барских усадеб были так гостеприимны в часы дивизионных досугов. Густая тень садов благоприятствовала кутежам. Это была зона интендантов, шампанского, летчиков с осиными талиями и жирных шофферов, опасных жен-

щин и ославленных патриотов, кишащая бесчисленным множеством поваров, вылощенных лакеев, мелких торговцев — шпиков и жандармов.

— Они от нас куда дальше, чем боши, осыпающие нас ядрами.

Змеясь, уходили своей дорогой вшивые ряды жалких пехотинцев; за ними тянулись вшивые ряды артиллеристов с их батареями и бесконечный обоз с провиантом, — и солдаты и их начальники, поневоле бескорыстные слуги войны, проснувшись еще до зари, наглотавшись пыли в этих модных местах, в этом царстве баловней славы, чувствовали себя пригодными только для удобрения.

— Тут нам не место. Здесь нам делать нечего.

— Мы здесь только мимоходом, как гурт скота, который гонят на убой.

— Какого поезда мы ждем? Куда нас погонят?

Острое, хотя почти безотчетное чувство несправедливости закрадывалось в душу и отравляло даже самые бесспорные радости.

— Ничего не поделаешь, пошлют нас с танками к Сомме на подмогу англичанам.

— Русские сообщают, что взяли триста тысяч пленных. Теперь-то уж конец войне.

— А вдруг как нас отправят в Верден... Ведь зуавы...

— Да что они знают, эти зуавы! Известные пустомели! Но для людей с такой здоровой печонкой, как у нас...

Баланту, по обыкновению, пьяный, говорил:

— Мы идем защищать мои замки — Френ и Санте.

Посадка производилась ночью. Батальону выданы были походные кухни, холсты для палаток, противогазные маски, упакованные в синие коробки, которые на ремне можно было носить через плечо, и в утешение — двухлитровые фляжки. Телефонистам вместо ружей выдали автоматические револьверы.

— Да, нас отправляют к Сомме. Я слышал, как об этом толковали офицеры.

Они высадились в Ревиньи. Станция была запружена вагонами, нагруженными серо-желтыми снарядами. Пыхтели паровозы.

— Значит, нас повезут в Шампань, на смену какой-нибудь действующей дивизии.

Вечером они снова двинулись к северу. Стояла нестерпимая жара. Они разместились на ночь в какой-то деревне, название которой на следующий же день вылетело у них из памяти.

— На самом конце дороги, — говорили им крестьяне, — есть перекресток, и на этом перекрестке — крест. Если вы свернете на-

право, то придете в Верден, а если налево, то в Шампань.

— Ну, конечно уж свернем налево.

Два дня спустя они переправились через Маас у Дюньи. Ночь пылала, как доменная печь металлургического завода.

Неужели там, в этом пекле, находятся люди?

Странной при лунном свете казалась эта защищенная холмами деревня со своими настежь открытыми дверями и окнами, переполненная солдатами, валявшимися на улицах и площадях, застывшими у колодцев и у порогов домов, скрюченными сном в каких-то необ'яснимых позах, глухими ко всяким окликам и грохоту телег, который, впрочем, тонул в беспрерывном гуле канонады.

День, ночь и еще день. Тюки с лагерным имуществом были брошены при выступлении. С собой брали только завернутые в полотнища палаток одеяла, да тощие торбочки с запасом провианта.

На сборном пункте унтер-офицерам был прочитан приказ: батальону предстояло отправиться к Флёри, Фюменскому лесу, редуту Тиамон, — километров за десять от их стоянки. «Далеко ли это, близко ли?» Выстраиваясь по четверо в ряд, многие чувствовали, как рыдания подступают к горлу. Тавен

Дебарк со своими телефонистами присоединился к третьему батальону.

Наглое солнце золотило воды бокового канала Мааса, кишащие сенегальцами. Хребет Бальрюпта, скрывая от любопытных взоров мрачное пепелище, вытянулся во всю свою длину. Не было ни клочка земли, не загроможденного палатками, оставшимися от разрушенных и переполненных лошадьми лагерей. Беспрерывно взад и вперед, как челнок на ткацком станке, то пустые, то снова нагруженные, сновали санитарные автомобили.

Когда они миновали Бельрюпт, уже спустилась ночь, и они продолжали свой путь, углубляясь во мрак какой-то долины, ужасающей, наполненной оглушительным грохотом. Чудовищные полевые орудия, расставленные во ржи, палили куда-то поверх второго темного хребта, склоны которого, изуродованные вражеской бомбардировкой, все сразу вспыхивали огненной чешуей. Ночь была полна бредовых видений. Издали какому-нибудь штатскому эта картина показалась бы прекрасной. По мере того, как они продвигались вперед, горные хребты точно таяли, и вскоре все затонуло в бешеном вихре звуковых волн, полыханий и свиста. Обессиленные, растерянные, перекликаясь, спотыкаясь, падая среди оглушительных взрывов, они опрометью бежали куда-то, слышали чьи-то

крики, проваливались в какие-то ямы, бессознательно делали привычные движения, ощупывали себя и при вспышке молний видели каких-то прыгающих людей с изуродованными, точно скальпированными лицами. Падать и снова бежать, думать, что каждая доля секунды может решить твою участь, увидеть вдруг железнодорожные рельсы, пуститься опрометью по насыпи, преодолевать томительную одышку, провалиться в овраг, увидеть тусклый свет фонаря, какую-то скалу, преграждающую тебе путь, пасть туннеля, кинуться туда, — и, наконец, благословляя судьбу, плюхнуться в какую-то лужу, наполненную жидкой грязью!

— Продвигайтесь вперед, потеснитесь! Дайте войти и другим.

Клод Люнан пошевельнулся. При свете электрической лампочки он увидел солдата запасного полка.

«Он-то как сюда попал?»

Поток новоприбывших подталкивал его вперед. Он увидел за этим солдатом ослов, навьюченных ящиками со снарядами. Направо храпела динамо-машина. Гирлянда ламп уходила куда-то вдаль, освещая глубокие своды и беспокойное колыхание шлемов и ружей.

— Очевидно, он очень длинный — этот туннель?

— Ах, да это ты?.. Ну, и попали же мы в передрягу!

— Наши-то все здесь?

Пласид не ответил.

Над головой нависала скала. Канонады здесь почти не было слышно. Справа вдоль стены в несколько ярусов тянулись металлические койки. Подле них суетились санитары. Некоторые раненые сидели на койках, с мрачным любопытством следя за перевязкой и разглядывая госпитальные листки, пришпиленные к их шинелям и сулящие им чудо эвакуации; другие неподвижно лежали, вытянувшись на окровавленных носилках. В этой сутолоке, усугубляемой окликами, сигнальными звонками и криками, многие пробирались ползком.

Солдаты с трудом разыскивали свои отряды. В туннеле теснились еще какие-то командные посты, запасные солдаты, приставленные к полковым кухням, ряды коек, нагруженных солдатами резервной роты, и другой отряд скорой помощи, подбирающий раненых на полях сражения; тут же лежали мертвые, уложенные в ряд и накрытые полотнищем палатки, и умирающие, чьи стоны надрывали сердце и гнали вас прочь к выходу, туда, где, разрываясь, грохотали снаряды большого калибра.

— Здесь немыслимо пройти.

Это было только начало. Всю ночь, направляясь к выходу, быстро двигались по туннелю силуэты каких-то отрядов, выталкиваемых наружу. Поникшие головы почти касались земли, а ноги почти ее не касались. Все они промелькнули мимо телефонной команды Тавена Дебарка, примостившейся кое-как на своих аппаратах и катушках. Ноги телефонистов вязли в лужах кровавых испражнений. Телефонисты, задумчивые, точно заблудившиеся в самих себе, сызнова переживали всю свою жизнь. На рассвете они должны были выйти из туннеля и сменить телефонистов в редуте. В каком редуте?..

— Он бетонирован, но теперь разваливается; придется укрепить, — сказал телефонист 217-го полка из службы связи, молодой солдат, в потрепанной расстегнутой куртке, с обнаженной шеей и грудью. Люнан заметил его женственную красоту. «Как, молодая девушка — здесь?» Влечение, которое он почувствовал к нежному телу этого мальчика, не показалось ему двусмысленным, а, наоборот, совершенно естественным.

«Только бы прекратилась бомбардировка».

Нужно было пробежать тридцать метров. вглядываясь в омраченные предчувствием

лица товарищей, — никто уже теперь не
задавал себе вопроса: который из них не
вернется? но думалось: который же из них
вернется? Никогда еще страх не сковывал
до такой степени этих людей, закаленных
всевозможными страхами — и теми, от ко-
торых дрожат и стучат зубами, и теми, что
толкают на убийство. Большинство из этих
людей в этот день было в состоянии како-
го-то отупения, — быть может, оттого, что
им пришлось слишком долго ждать. Ни
в ком не чувствовалось того острого любо-
пытства, которое, несмотря ни на что, вле-
чет нас навстречу опасности. Они были
слишком стары для того, чтобы еще верить
в красоту смерти. Быть сильным и вообра-
жать, что ты в состоянии вынести все это, —
нет, давно уже такие силачи, как Клод Лю-
нан, поняли, как жалки и смешны под об-
стрелом все их атлетические приемы! Взбе-
шенный своим цветущим здоровьем, Люнан
мечтал о том, что упадет в обморок и что
его подберут, как раненого, он мечтал о по-
беге — и не двигался с места. И даже в тру-
сости его была какая-то вялость. Надо было
пробежать всего лишь тридцать метров, —
одно только маленькое усилие мускулов.

— Ну... друзья... надо приготовиться.

Одним духом Тавен Дебарк не мог про-
изнести этой фразы.

В узкое отверстие между сводом туннеля и двумя рядами мешков с землею, загораживающих выход, проскользнуло слезливое серое утро и покрыло все лица теплом.

— Подождем еще немножко, — промолвил чей-то неузнаваемый голос.

— Дай хоть отнести письмо санитарам.

Взрывы 130-ти и 210-ти миллиметровых снарядов чередовались с какой-то удручающей последовательностью.

— Мы выбежим тотчас же после следующего залпа.

Люнан подтянул под подбородком ремешок своего шлема. Он, наконец, овладел собою:

— Я уверен, что все мы оттуда вернемся.

— Вперед! — воскликнул Гобле, бросаясь к выходу. Когда они очутились по ту сторону мешков с землею, прикрывавших выход туннеля, их бег сразу преобразился в какие-то эпилептические прыжки. Бежать пришлось по остроконечным режущим осколкам скал. Ущелье каких-то изуродованных утесов, клочок неба, клокочущее дыхание залпа, внезапность падений, ныряний — и снова бегство в дыму. Карабкаешься, а кремнистая почва оврага вдруг расползается, зияя грозными воронками, изрыгающими какие-то про-

гнившие внутренности, смешанные с железом. Куда ни глянь, повсюду необозримое море воронок, — ни былинки, ни дерева под этим июльским небом. Поистине невообразимая действительность, от которой с ужасом отшатываются все наши пять чувств! И все-таки надо было действовать. Эти крохотные людишки прыгают по грудам камней, по кучам опилок, оставшимся от деревьев, по осколкам, по человеческим останкам. Тело уже не что иное, как какая-то рефлекторная машина; в душе осталась только воля к жизни. Пласид падает. Да Пласид ли это? Сердце у Клода замирает Жерве, бежавший следом за Пласидом, перепрыгивает через него. Клод останавливается и вопит:

— Стойте! Подождите же его...

Канонада заглушает его голос. «Я ли это крикнул?»

— Да ты ранен, что ли?

Пласид, не успев ответить, бежит дальше. Они несутся по этому кладбищу, кишащему белыми червями. Кругом как будто лежат груды риса. Чтобы продолжать бег, приходится полной грудью вдыхать это ужасное зловоние. Ноги вязнут в липкой каше. А в раскаленном воздухе мелькают синие пятнышки, размахивающие своими смешными ружьями, такие бессильные и жалкие

под огненным бичом гаубиц и митральез. Телефонисты вваливаются в отдушину какого-то погреба — это вход в редут.

★

В узких казематах, служивших командным постом для полковника 217-го полка, укрывались вестовые, телефонисты, саперы, санитары, изнемогающие под бременем своих обязанностей, с отчаянием отстаивающие свои права на жизнь, совершенно растерявшиеся в путанице чувств, диктуемых инстинктом самосохранения. Их спины, как губки, вытирали и вбирали в себя липкую сырость бетонных стен, от которых разило трупным запахом. Их башмаки были пропитаны клейкой кашей разлагающихся трупов. В их походных сумках то и дело попадались черви. Они принуждали себя есть, но желудки отказывались от такой пищи. Они пили воду, питались одним только страхом, поддерживали свое существование только мужеством, закрывали глаза, затыкали носы, зажимали руками уши. «Не видеть больше друг друга, не думать, не слышать, забыться навсегда!»

Утром и вечером в этой страшной тесноте, спотыкаясь, наступая им на ноги, совершал свой обход полковник с револьвером в руке.

Его электрический фонарь внезапно освещал чье-нибудь лицо.

— Кто вы такой? Что вы здесь делаете? Знаете ли вы его, сержант?

Если никто не отвечал, дуло револьвера поднималось, и голова осужденного при свете фонаря выделялась во мраке, как мишень.

— Так на кой же чорт ты здесь? Сбежал, небось? Где твоя рота? Убирайся вон, а не то я тебя пристрелю.

Эти слова сковывали душу нестерпимым ужасом.

«Нет, никогда у меня не хватило бы смелости быть офицером», наивно думал Клод Люнан, навалившись всей своей тяжестью на ноги Пласида и на спину капрала Тавена Дебарка и держа на согнутых коленях Симона и юного телеграфиста, который привел их сюда.

«Буду ли я жив завтра?.. Эта вонь омерзительна... Где будем мы через неделю? Быть может, будем уже разлагаться. Нет, нет, нет! Я хотел бы, чтобы женщины... Их утробы отказались бы от зачатия... А мальчишка этот — совсем как женщина... Я потерял свой нож».

Свечи то-и-дело гасли от глухих толчков, сопровождаемых обвалами камней, и толчки эти повторялись так часто, что люди, стре-

мившиеся наружу для отправления своих не- отложных надобностей, едва дойдя до вы- хода, сразу со страха забывали о них.

Вокруг редута, образуя первую боевую линию, в воронках засели солдаты; они не видели своих соседей, и зачастую ямы, вырытые снарядами, наполненные неприятельскими пехотинцами, были куда ближе к этим воронкам, чем убежища собственных товарищей. Орудия, не различая ни синих, ни серых воронок, равно осыпали их снарядами. А туда подальше — другие кучки солдат, другие такие же случайные прикрытия, другие номера полков. Мертвых было в десять раз больше, чем живых. Живых раз по сто хлестала по щекам смерть. Здесь представлены были все оттенки мужества и страха, самые невероятные изменения психики: отупелый героизм, судорожное возбуждение, слабоумие и ясновидение. У некоторых, особенно нервных, наблюдалось какое-то страшное спокойствие; у более спокойных — приступы идиотского смеха. В то самое мгновение, когда неверующий вспоминал, наконец, слова молитвы, верующий начинал богохульствовать. Рядом с каким-то капитаном, слишком хорошо владевшим собой, командир отправлял свои естественные надобности в сумку своего денщика.

Какие-то сдавленные голоса выкликали телефонистов попарно. Их вызывали; они с трудом поднимались, как избитые животные, пытались что-то сказать, отказывались от последней надежды — и шли. Когда наступила очередь Пласида и капрала Тавена Дебарка, они приблизились к выходу, сначала отпрянули, точно отброшенные нахлынувшей волной, а потом кинулись вперед — жалкие игрушки в руках какой-то высшей силы. Баланту и Демон последовали их примеру, так же безотчетно, как Февр и Буржуа. Галану и Бретону удалось воспользоваться мгновенным затишьем. Какой-то телефонист 217-го полка и Жерве ушли так же, как и первые пары. Когда настал черед Гобле, он крепко пожал руки своим соседям и, развертывая свою катушку, ринулся вперед, как бык. Ни Демон, ни капрал, ни Бретон, — никто из них не возвращался.

«Видно, этому не будет конца», вновь и вновь думал Клод Люнан, когда пришел его черед выйти вместе с Симоном. Он обливался холодным потом.

— Вперед!

Он схватил свою катушку, которую подложил себе под голову женоподобный мальчик. Тот спал. Люнан страстно поцеловал его в губы.

Это был какой-то безумный полет по бутрам, выпирающим вокруг воронок под зловещим заревом солнца. Телефонные провода указывали им путь; они бежали, едва переводя дыхание, среди какой-то путаницы оборванных старых проводов, то изрубленных на куски и похожих на змей, то скрученных толстыми узлами и напоминающих огромных жаб. Едва добежав до оврага, они были подброшены в воздух оглушительным взрывом. Кости черепа затрещали, покатились сорванные с головы шлемы, — они очутились на дне соседней воронки в взметнувшемся облаке пыли и как-то сразу успокоились. «Живы? Ну, значит, скоро конец, господи».

— Господи! — повторил Люнан.

Они починили свою телефонную линию с какой-то сказочной быстротой. «Держи проволоку. Вот нож. Скобли. Натягиваю. Скорей. Катушку». Слова не достигали их сознания. Полуденное солнце ошпаривало их потом. Они умирали от жажды; они кубарем скатились вниз к туннелю; навстречу им попался какой-то страшный, похожий на гиену человек, размахивающий рукой, у которой оторвана была кисть. Два санитара, сгибающиеся под тяжестью носилок, с которых свешивались чьи-то ноги, исчезли в огненном вихре, — упраздненные служа-

ки! Даль была исполосована головокружительными траекториями снарядов, воздух сотрясался бешеными взрывами. Мировое торжество пиротехники. В туннеле они перепились водой и ромом.

— Хорошо еще, что нас послали на работу до наступления ночи.

— Хорошо еще, что ночи теперь короткие и светлые.

— Теперь только четыре часа.

— Боши выкапывают нас, как картошку.

Они снова вышли. Пальба поутихла. Вид земли изменился. Воронки превратились в кратеры. В новых ямах покоились новые трупы, точно поджидая нового взрыва, который похоронил бы их навеки. Пустыня пейзажа как будто издевалась над ясностью неба. Позади темнел Сувиль, точно дразня их жалкими остовами своих деревьев. Наблюдательные воздушные шары следили за далями, оплетенными сетью стратегических вычислений. Навстречу им поднялся человек с бесформенной кровавой маской вместо лица. Они споткнулись и упали на труп, который, наверное, лежал здесь уже неделю и так раздулся, что лопнул, истекая какой-то нестерпимо зловонной жидкостью. Всюду, куда ни глянь, земля была покрыта буграми и среди них нельзя уже было различить редута. Вход в редут был завален кам-

нями; в глубине под обвалившейся бетонированной глыбой стоял многоголосый стон. Клод отыскал молоденького женоподобного телеграфиста. Он лежал в другом углу каземата, примостившись на чьих-то дружественных коленях и улыбался. Клод рассердился на него за эту улыбку. Вскоре бомбардировка возобновилась с новой силой.

На четвертый день к вечеру команду Тавена сменили. Когда она подходила к туннелю, и Жерве, нагруженный большим аппаратом, сбросил его, наконец, с плеч прямо в лужу, вдруг один за другим грянули бесчисленные залпы, и маленькие, как-то глухо разрывающиеся снаряды, перелетая через Совильский хребет, затопили газом окрестные овраги, заглушили голоса орудий, удушили обеспамятовавших лошадей, каким-то коварным ползучим облаком преградили доступ в туннель и заставили умолкнуть тревожные сигналы трубачей. Вместе с этим ядовитым запахом всюду расползалась тоска. Все, что было живого в войске, сразу замерло, перестало дышать, расплылось в каком-то желтом тумане. Шлемы были сняты, маски развернуты, руки, прилаживая их, дрожали, лица преобразились в свиные рыла. Слюдяные очки затуманивались от дыхания, и эта не-

ожиданная слепота усиливала чувство одиночества и беспомощности. Уши пылали под намокшими от пота волосами. Слова напоминали хрюканье. Позабытые всеми раненые блевали, выплевывая свои отравленные внутренности.

— На этот раз всем нам пришел конец!

Угрюмые, отчужденные от всех в этой дикой суматохе, отощавшие от трехдневной голодовки, изнемогающие от усталости, негодующие на то, что теперь даже не придется поесть, Гобле, Жерве, Люнан, хромающий Симон, вывихнувший левую ногу, и Баланту, не думая о других, отправились на другой конец туннеля, залезли на пустые верхние койки и легли, подняв рыло кверху, ворочая в мозгу все ту же упрямую мысль: «А мы-то думали, что с этим уже покончено. Нет, никогда нам не выбраться отсюда».

Баланту, запыхавшийся от быстрого бега, теперь под маской совсем не мог дышать. Он вертелся, поднимал голову, старался вздохнуть поглубже, задыхался. Он расстегнул пояс, развязал гнусную тряпку, служившую ему галстухом; жилы на его шее вздулись, руки судорожно распахнули ворот рубашки, он выпятил вперед грудь, стиснул ее обеими руками, точно желал открыть ее притоку воздуха. Он слишком долго бежал, ему было слишком жарко, пот ручьями сте-

кал с головы ему на руки, — и он изнемогал. Он сорвал с себя маску, вздохнул полной грудью и крикнул:

— Ну, теперь полегчало. Хорошо!.. Газ этот — сущие пустяки. Он пахнет какой-то вкусной травкой. Лучше было бы, конечно, поджарить этакую траву и с'есть, хи-хи! Эй вы, фефелы! Снимайте-ка эти идиотские штуки...

Маски что-то прошумели ему в ответ, но руки и ноги не пошевельнулись. Его судорожный смех вдруг оборвался икотой. Легкие его были уже отравлены. Он весь затрясся от приступов страшной рвоты. Несколько снарядов разорвалось у входа в туннель. Храпение динамо-машины вдруг умолкло, и лампы погасли. В поднявшейся суматохе чей-то голос, не заглушенный маской, крикнул:

— Боши перешли в наступление. Они у редута. Они придут и сюда.

Заскрипели железные решотчатые койки, все три яруса их опустели. Другие, тоже не заглушенные масками голоса, кричали:

— Да куда же вы идете?

— Пропусти ты меня, бога ради.

— Я предпочитаю, чтобы меня взяли в плен.

Вспыхивали и гасли огоньки зажигалок. Здесь и там поблескивали шлемы. Эти

мгновенные вспышки света только усугубляли смятение. У входа нерешительность людей возрастала. Бомбардировка усиливалась. Клод и Жерве сняли с себя маски.

— Ох, наплевать нам на все! Который час?

— Не знаю. А по-твоему?

— Наверное, уже за полночь.

— В два часа уже светает, останемся пока здесь.

— Дай-ка мне твою фляжку. Газ этот — ерунда!

И тут же непреодолимая усталость сковала их сном.

В желтоватой дымке газа снова засветились электрические лампы. Какой-то батальон 358-го полка выстроился и вышел из туннеля. Солдаты большей частью держали свои маски в руках. После ухода этого батальона туннель, казалось, наполовину опустел. В тумане, разгоняемом солнцем, как огненная пасть печи, зияла заря. Гобле проснулся и растолкал товарищей.

— Все уходят. Кроме нас, здесь почти никого не осталось.

— Они бросили нас, — застонал Симон.

Солдаты, вернувшиеся с первой боевой линии, рассказали, что редут был взят в полночь, что мы произвели контр-атаку и захватили восемьдесят пленных.

— Они идут следом за нами. Да вот и они!

Унылая, жалкая толпа. Если бы на пленниках были надеты синие шлемы, издали их нельзя было бы отличить от тех, кто их конвоировал. Все это были просто люди, облепленные гноем разлагающихся трупов. Они были еще более измучены, чем мы, и лица их были еще желтее. Нельзя было на них сердиться, — они только делали то, что им приказывали; между ними и нами разницы никакой не чувствовалось. При мысли об их переправе под убийственным градом наших 75-миллиметровых снарядов хотелось пожать им руку. Они продвигались вперед в тумане удушливого газа, который сами же наслали на нас; они, пристыженные, преодолевали преграды, созданные их же собственными снарядами. Клубы хлористых испарений расползались и таяли под лаской солнечных лучей. В «Кабаре Руж», где расположился летучий госпиталь, пыхтели санитарные автомобили, эвакуирующие раненых. На вершине Бельрюпта можно было, наконец, вздохнуть полной грудью. В долине, по ту сторону горного хребта, в деревнях собирались уцелевшие войсковые части и полки, пришедшие этой ночью им на смену. Гобле, Жерве, Люнан, Дюма поднялись на Бельрюпт, спустились в долину и

присоединились к лагерю, как приблудный скот, потерявший хозяина. Они не досчитывались капрала, Баланту и еще двух товарищей. Бретон, раненный в руку, сменил перевязку. Ручей гостеприимно принял каких-то голых людей, которые в полном молчании занялись стиркой своего белья. Действие газов продолжалось. Следовало бы выпить молока. Люди жадно глотали солнечное тепло. Они падали от усталости и тут же засыпали посреди улицы. Ночь заволокла эту дикую картину — раскрытые настежь дома и синие, разостланные на земле шинели, покрытые пеплом лунного света. На следующий день под вечер пришлось снова тронуться в путь.

★

Мир рушился; рухнула опора последней надежды, — это было самое страшное поражение, это перешло все границы возможного. В молчании поредевших отрядов, едва волочивших помертвелые ноги, было что-то такое, от чего становилось стыдно. В глубине души назревала обида, призывающая к бунту, та обида, которая вырывается у рабов в восклицании: «Лучше уж околеть!» Но самолюбие, приковывающее в отряде человека к человеку, и непобедимое воспоминание о семье и домашнем очаге снова смазывали

колеса машины, и по сумрачным изрытым сапогами склонам звучал мерный топот шагов и позвякивало оружие. Вместе с прекрасным днем, догорающим там, над городами, сколько уходило робких желаний, сколько назревало тайных возмущений, сколько притушено было жалоб, сколько выдумано было спасительных случайностей: легкое ранение в руку, отмена приказа, приступ рвоты, благодаря которому можно было бы залечь в какой-нибудь канаве, внезапное непрекращение бомбардировки, вызванное недостатком снарядов перемирие. От Гобле к отцу Пласиду, от самого последнего вестового 600-го полка к самому последнему гренадеру какого угодно полка, как некая зараза, переходил дух критики, порожденный чрезмерностью страдания. Несмотря на их покорность законам, о незыблемости которых им твердило начальство, они пришли к полному их отрицанию.

Развороченная земля была насквозь пропитана стоячим запахом газа. В закоулках валялись еще свежие вчерашние трупы задохшихся во сне людей. Солдаты падали, натыкаясь на их окоченелые ноги. Продвигались вперед медленно, почти незаметно. Рев батарей сотрясал небесные сферы; земля изнемогала от содроганий; там, где были деревья, зияли ямы, наполненные камнями.

Пол-ночи длился этот злополучный переход.

И вдруг, бог весть почему, в смешанном гуле батарей их чуткий слух различил шумный и молниеносный полет 130-миллиметрового снаряда. «Начинается!» Сорок человек проваливаются в какой-то узкий проход, оставшийся от траншеи, которая рушится от толчка этого взрыва и разлетается снопами пыли, насыщенной какими-то фосфорическими искрами — остатки гниющих трупов.

Потом — полная тишина. Потом слышно, как люди встряхиваются, чтобы убедиться в том, что они еще живы.

— Люнан, ты потерял маску! — крикнул Симон.

Клод продолжал лежать. Распахнувшиеся от быстрого и столь внезапно остановленного бега полы его шинели взвились кверху и накрыли его с головой. Под затылком у него лежала катушка. «Она спасет меня в случае взрыва».

Ему казалось, что мысли его ясны. «Ничего! Где-нибудь раздобуду маску. Но куда же они идут?»

Он высунул голову и увидел, что он совсем один.

— Симон, — взвыл он, — подожди меня!

В ответ засвистали ядра.

«Я сошел с ума. Чего же я кричу? Он все равно не услышит. Как воняет газом! Вся земля отравлена. Мне не найти маски. Мертвые солдаты, которых мы видели час тому назад, умерли потому, что у них не было масок. Нет у меня больше маски».

Он уже на ногах, он бежит, он падает и снова бежит еще быстрее.

— Маску, маску во что бы то ни стало!

Он взывает к мертвецам, присутствие которых он угадывает, к выкорчеванным деревьям, преграждающим ему путь, к каким-то обгоняющим его теням. «Куда бежать? Где окопы? Я почти что на первой боевой линии».

На него падает свет неприятельской ракеты. Он ложится, пули гонят его дальше, он бросает катушку, видит в земле какую-то щель и опрометью кидается туда. Вереница идущих ему навстречу людей останавливает его. Он снова взбегает на откос. Это уже не Люнан — это какой-то призрак, прыгающий перед такими же, как и он, призраками, которые идут за ним следом и кричат:

— Сумасшедший! Пристрелить его!.. Из-за него нас увидят.

Он думает, совершенно забыв об усталости, добраться до санитарного пункта в «Кабаре Руж». Оглушительный залп отбрасывает его в сторону, и он попадает в какую-то но-

вую, еще более глубокую траншею. Он идет по длинному коридору, повернувшись спиною к полыхающим выстрелам. Резервные солдаты, попавшиеся ему навстречу, сказали, что ему придется итти еще несколько часов, что скоро уже будет светло, и он не сможет пройти тою же дорогой, мимо форта Во, и лучше свернуть в сторону к Таванне:

— Вон туда.

Он с трудом разглядел в том направлении, которое указывали ему рукой, очертания какого-то, еще более высокого и черного горного гребня.

— Спустись в первый окоп направо. Итти тебе придется долго. Потом сверни опять направо. Там ты увидишь мостик над траншеей.

Ему хотелось сказать им: «Дайте мне маску. Она мне нужнее, чем вам».

Они скрылись из виду. Темные красноватые полотнища задернули луну. Прорезываемая молниями густая чернота, казалось, окружала его какими-то страшными кознями. Вокруг трепетали завесы удушливого газа. Он дышал с трудом, но ноги его продолжали бежать.

«Я шагаю, по крайне мере, уже шесть часов. Мне нужна маска. Чтó если попросту вернуться обратно? Они говорили, что нас вызывают только на суточную смену. Това-

рищи меня поддержат. Никто и не узнает об этом. Да разве я им нужен? В телефонистах там не нуждаются. Командир наш не любит телефонов. Господи, зачем я родился в такое ужасное время? Ах, как мне все это надоело!..»

Чья-то зверски грубая рука и чей-то одичалый голос вдруг пригвоздили его к месту.

— Какого полка?

И прежде чем он успел ответить:

— Офицер или товарищ? Отпустили тебя, что ли?

— Видишь, на нем нет галунов. Оставь его в покое.

— Все еще тянешь лямку? Нам-то это уже осточертело. Куда это ты отправился? Ищешь смены? Когда же она будет, эта смена? Ты сам не знаешь когда? Да откуда же ты в таком случае явился?

— Ох, — сказал он, наконец, — поверь, что и мне так же, как и вам, все это осточертело. Я ищу маску.

В узком проходе, завешенном каким-то одеялом, мелькнула полоска света. Он подумал: «Недурно было бы здесь остаться», а сам спросил:

— Ведь это и есть дорога в Таванну?

— Нет, иди вон туда.

— Да, нет же, — сюда, — сказал другой солдат.

— Брешет он,—говорю тебе,—продолжал первый. — Поднимись еще на сотню метров. Там дорога разветвляется, и на перекрестке ты увидишь надпись

Ему и хотелось и не хотелось остаться. Ноги его подкашивались.

«Только бы уснуть. Если бы я нашел удобное местечко, уж выспался бы я всласть. Но как же быть без маски? Они-то устроились здесь со всеми удобствами».

Ядовитый запах гнал его вперед. Его тошнило. Сознание его мутилось какими-то бредовыми видениями. Ему вдруг почудилось, что перед ним жандармы, и он взвел курок револьвера. «Если они будут приставать ко мне, я выстрелю».

— Да что ты, сволочь? Идиот ты эдакий! Нет здесь никаких жандармов.

Несколько батарей открыли огонь почти над самой его головой. Воздух, сотрясаемый их толчками, хлестал его по щекам, глаза слепли от лиловых полыханий. Он спустился в овраг — они исчезли; он снова вышел — пламя брызнуло ему в лицо. Проклятая война! Возбуждение его достигло крайних пределов. Он снова пустился бежать, карабкался куда-то вверх, снова сбегал вниз, то жмурясь от ослепительных вспышек, то вновь погружаясь в лабиринт пляшущих теней, навстречу ему поподались какие-то заблудив-

шиеся люди, он не окликал их, он продолжал бежать, наступая на трупы, на камни, осыпая их руганью. Забрезжила уже спасительная заря, а он все еще не нашел дороги.

На санитарном пункте ему дали маску. Он повалился на ящик и, окруженный ранеными, задыхаясь, выпил воды, потом с'ел два сухаря, пришел в себя и снова пустился в путь. Он то-и-дело спрашивал дорогу у всех солдат его полка, попадавшихся ему навстречу, но каждый из них в этой развороченной ядрами местности знал только те воронки, куда в злополучную минуту закинула его судьба, и каждый был занят только собою.

Подчиняясь непреодолимой привычке к повиновению, он пытался ориентироваться. Под ярким полуденным солнцем путаница траншей казалась еще более непостижимой. Его охватило какое-то оцепенение; приступы рвоты скрючили и бросили его на землю, на эту каменную постель, прежде, чем он успел выразить то, что ему хотелось сказать, то, что еще тлело в его мозгу, как последняя искорка мысли: «Я не хочу умирать, я не хочу умирать!» А руки его уже скребли землю и цеплялись за какие-то былинки, и беспощадная смерть свирепела под этим неистощимым солнцем.

Он потерял сознание, он умирал, другие уже умерли, голова его кружилась и каким-

то чудовищным грузом тянула его ко дну. Тело его, казалось, было уже совсем невесомым. «Какой я слабый, какой я маленький! Просто мясная каша, которую свалят в ящик. Тысячи немцев, таких же маленьких, как я... И среди них я, покинутый всеми. Товарищи мои умерли, для них уже все кончилось, они уже ни о чем не думают. Вот уносят ящик, в который они меня положили, а вместо крышки — скала. Видно, они не замечают, что она меня раздавила. Я поднимаюсь куда-то, опять лечу вниз... точь-в-точь как на качелях у моего дедушки, когда я был таким же маленьким, как сейчас... Какие-то лестницы валятся, как только их приставляют к стене... Я не хочу умирать. Я потерял свою записную книжечку. Мне надо ее найти прежде, чем... Зачем вы раздираете мне живот! Моя записная книжечка... Брат мой никогда не сможет ее найти... Неужели вы оставите меня здесь гнить так же, как всех других?.. Нет, не меня, не меня! Мать ни за что не решится притти... Моя записная книжечка... Не надо еще умирать... Моя записная книжечка»...

★

По коридорам развороченных окопов врассыпную бежали освободившиеся после смены солдаты, направляясь к возвышенностям

и лощинам Бельрюпта. Было еще довольно светло. Гобле узнал лежавшего в яме Люнана. Он кубарем скатился туда и встряхнул товарища.

— Ты ранен?

Измученное лицо Люнана взглянуло на него ничего не видящими глазами. Голос его прозвучал совсем по-детски:

— Да где же мы находимся?

— Ты не ранен? Почему же ты весь трясешься?.. — Он толкнул его ногой.

Клод продолжал все тем же тоном замечтавшегося ребенка:

— Скоро уже этому конец, правда?

«Притворяется», — подумал Гобле, и его охватила злоба.

— Ты не ранен, ведь ты же не ранен! Значит ты здесь укрываешься?

— Укрываюсь? Я? — сказал Люнан уже обычным голосом.

Он уже пришел в сознание. «Что ж, — сообразил он, — в конце концов, почему бы ему так не думать?»

Гобле кликнул Жерве:

— Это — Люнан. Поди-ка сюда! Боюсь, что он спятил.

— Посмотри, как меня рвало, — ответил Люнан.

Жерве подошел к нему и потянул его за руку.

— Ух! Возьми-ка его за другую руку, Гобле... Да ну же, Гобле!..

Теперь гнев Гобле обрушился на него.

— Эй, ты! Ты бросил большой аппарат в овраг. Погоди-ка, расскажу об этом ужотка кому надо, — будет тебе чем похвастаться, трус!

— Полковая рвань! — огрызнулся Жерве.

— Только такие увальни, как я, и годны еще на что-нибудь, — проворчал Гобле. Мы-то ведь не то, что вы с вашими щипчиками на носу.

Несправедливые нападки всегда спокойного Гобле ничуть не удивляли Люнана. Дикая раздражительность солдат усугубляется опасностью. Наоборот, он простодушно сетовал на дряблость своих мускулов: «Руки у меня — как тряпки. Поясница точно перешиблена». Он шел так, как будто ноги его были увязаны в мешок.

Несколькими отрядами, которые с аэроплана можно было принять за расползающихся гусениц, снова был пополнен состав полка. Вблизи это человеческое отребье производило отталкивающее впечатление. Эти люди точно наполовину обгорели на каком-то пожарище. Здесь можно было видеть голые икры, почерневшие от засохшей на них грязи, берцовые кости, покрытые какой-то слипшейся шерстью и нечистотами, засуну-

тые, как палки, в широкую пасть расхлябанных башмаков. На иных, еле передвигавших отекшие ноги, остались только прорезанные на заду шинели, и на землистых лицах одни только впалые глаза. И в глубине этих глаз трепетали какие-то клочья души, которые не смели или не могли соединиться друг с другом, какие-то беспорядочные мысли, обрывки воспоминаний, лохмотья каких-то образов, разрозненные пустотой. «Да я ли это? Где же мы были? Что видел я? Останемся ли мы в живых? Кончилось ли это, наконец?» Прошлое, как-то сразу снизившееся до уровня чего-то обыденного, обрывалось на краю зияющей пропасти, которую ничто уже не могло бы заполнить, и этой роковой межою отныне определялось их летосчисление: до и после Вердена. Казалось, они перешагнули через целое столетие. Теперь деревня — ночное их пристанище — с ее просторными улицами и колодцами, облепленными фигурами спящих, без труда приютила эти жалкие остатки отрядов. В течение двух переходов они были точно призраки, точно выходцы с того света, о которых историки, конечно, умалчивают. На третью ночь во сне началась какая-то смутная работа: зашевелились бессвязные мысли, некоторые органы, восстанавливающие свою деятельность, населили их сновидения страшными обра-

зами, мускулы снова стали приходить в движение.

Следующие ночи были полны какими-то бредовыми воспоминаниями — спорили чьи-то голоса, тела вновь и вновь повторяли те, безотчетно сохранившиеся в памяти движения, которые они делали в боях, слышалось храпение, прерываемое спазмами, руки беспокойно шарили, точно разыскивая что-то вокруг. Те, что были особенно возбуждены, вместо того, чтобы спать, курили трубки и так же, как и спящие, но наяву, в сумраке своего полупомраченного сознания продолжали томительный поход. Только немногие, и в том числе Клод Люнан, вполне осознали значение того, что они пережили.

«Если я останусь в живых, ничто уже не сможет меня остановить».

Все дальше отодвигалось от них это грозовое, безумное небо; громы его точно расплывались и звучали отдаленней и мягче... И на всех этих телах, порожденных любовью, стало сказываться влияние мощного лета. Некоторые движения сонных губ при свете луны можно было принять за улыбку, причмокивания — за поцелуи; некоторые позы свидетельствовали о том, что инстинкт самосохранения принимает новые формы и готовится отстаивать свои права и что из самых темных недр снова восстает в этих

юных самцах их половая мощь. Обильные выделения желез и этот звериный запах сгрудившихся тел, смешанные с брожением растений, с запахом животных—со всем этим чувственным дыханием ночи, оттачивали жало желания и разжигали жажду жизни. Со своих ватных подушек томными, обведенными тенью глазами глядела луна. Ручьи журчали как-то похотливо, во мхах было какое-то сладострастие, деревья, казалось, сплелись в судорогах совокупления, ноги изнывали в тисках грязных штанов, руки обнимали пустоту... Где же были они, — эти горячие белолицые женщины?

МЯТЕЖ В КЕВРЕ

Когда созрело яблоко и падает — отчего оно падает? От того ли, что тяготеет к земле? оттого ли, что засыхает стержень, оттого ли, что сушится солнцем, что тяжелеет, что ветер стрясет его, оттого ли, что стоящему внизу мальчику хочется с'есть его?

Л. Толстой.

Гром канонады у Шмен-де-Дам напоминал разрушение мира. Какая-то особенная суровость тяготела над этими поднимающимися и опускающимися по горным склонам отрядами. Обменивались только дурным словом. Молодые не смели отвечать старшим. Они старались выглядеть удальцами, но это им не удавалось. Комок горечи стоял в горле [1]).

— Глянь-ка на это проклятое воронье. Оно слетается уже, чтобы клевать нас.

---

[1]) Весной 1917 года упадок духа и дисциплины достиг такой степени, что насчитывалось в среднем в каждой дивизии ежедневно по одному проступку, караемому военно-полевым судом. В одной из армий около Шалона-на-Марне в течение недели по различным поводам расстреляно было пятьдесят три солдата. Прим. авт.

— После 16 апреля у всех опустились руки.

— Да, 16 апреля колониальные солдаты полегли рядами, ровно частокол. Что и говорить, — боши по крайней мере за месяц знали уже о нашей атаке. Все-таки это свинство!

Никто не замечал прекрасной игры солнца, которое то уплывало куда-то, выдвигая вперед какой-нибудь горный хребет или уголок дали, то вдруг открывало перед вами деревню и колосило зреющие нивы, то скрывалось за сеткой дождя.

— Вот уж третья весна, последнее наступление.

— Вот уж двадцать один месяц, как оно началось в Шампани под командой де-Кастельно.

— А англичане-то все еще вытягивают свой фронт. И до сих пор не дотянулись еще до Сен-Кантена.

— Лет через семь, авось, и дотянутся, дружище.

— А что ты думаешь о русских с ихней революцией? Тоже не ахти как шикарно, не правда ли?

— Что ж, по-твоему, они обязаны были драться палками?

— Ах, как мне все это осточертело! Как мне все это осточертело!

— Все это кончится только тогда, когда на свете не останется никого, кроме богачей, чтобы итти на войну.

— Так! Подписано: Кадорна.

— Вот еще тоже чудак!

Дождь выстирал их лица. Единодушная уверенность в том, что они умрут ни за что, ни про что, не покидала их в течение целого месяца — и уничтожила последние остатки мужества, когда они, наконец, добрались до Кёвра.

По обыкновению, не присаживаясь, стоя, продрогшие в своих мокрых шинелях, они похлебали воды, называемой супом, поели веревки, называемой мясом, и улеглись где попало. Многие предпочитали голые доски грязной соломе, кишащей червями. На другой день, когда стало известно, что они еще остаются на месте, наваждение смерти временно рассеялось. Снова начались маневры, маршировка, игра в футбол. Им нужны были сильные ощущения, чтобы забыться. Жерве, у которого завелись деньги, жил окруженный друзьями. Без устали славили Бахуса, неоспоримого бога армии. Судя по газетам, повсюду разгорались забастовки, великолепная весна одушевляла русскую республиканскую армию, социалисты требовали поездки в Стокгольм и конца войны. Америка готовила нам на подмогу несколько ди-

визий, итальянцы только-что одержали решительную победу. Все это служило только поводом для насмешек в те часы, когда солдаты собирались вокруг общего котла за обедом. Никто уж этому не верил. Симон еще пуще жаловался:

— Они своей брехней доведут нас до бешенства. Сам не знаю, что удерживает меня от того, чтобы швырнуть им мое негодование прямо в рожу, как комок грязи. Что делают там, у Шмен-де-Дам? Ничего. Проклятое правительство! Да, я знаю, что это грозит военным судом, расстрелом или каторжными работами. Но, скажите же мне, да разве есть каторга, страшнее нашей?

— Ла-ла-ла! — осаживал его Пласид, — а ты подумай, что тебе еще, быть может, удастся вернуться. Ведь ты занимал определенное положение в жизни.

— Нет у меня ни отца, ни матери. Жизнь моя была сплошная мука.

— Да, но я знаю, что у тебя премилая жена.

— Ее родители отказались от нее, когда она вышла за меня. Ах, жизнь! — восклицал он. — Это — пляска мертвецов. Все радости наши — только самообман. Как превратить зло в добро? Где найти покой? Общество хорошо только для тех, кто у власти. Пуля прямо в сердце — вот она истина!

Его пожелтевшие щеки оживлялись румянцем. Болезненная худоба и тысячи мелких морщинок старили его еще юное лицо. В этом человеке чувствовался деятельный ум и душа чистая, но отчаявшаяся. Его слушали в полном молчании. Он внушал к себе какое-то почтение. Клод Люнан, все более и более молчаливый, не переставал думать о своем брате, убитом французским снарядом.

*

При первых же признаках скорого от'езда неизвестно откуда стали распространяться слухи о восстании. В полях расставлены были посты конных пулеметчиков. На обращенные к ним вопросы они отвечали, что призваны сюда для охраны порядка. Несколько дней спустя по главной улице потянулась длинная вереница грузовиков, наполненных солдатами 129-го и 36-го полков, которые вопили, призывая к бунту:

— Долой войну! Довольно с нас! Весь третий корпус отказался итти. Следуйте нашему примеру. Война кончится завтра же.

Некоторые пели революционные песни, другие разбрасывали листки с воззваниями. Они откинули руки и размахивали ими в воздухе.

— Вот так, руки назад! Долой армию! Бросайте ружья! Смерть насильникам!

Смерть правителям! Смерть — или свобода! За нами!

Среди них были и офицеры. Процессия тянулась все утро.

Солдаты, выстроившиеся эшелонами вдоль домов, во все глаза глядели на это зрелище. «Правильно!» В этот день и вспыхнуло восстание. Оно развязало дотоле связанные дисциплиной языки. Не только низшие, но и офицерские чины встречали его как избавление.

— Было бы слишком глупо отправляться теперь на позиции,—сказал один лейтенант, впрочем единственный, который осмелился говорить в присутствии солдат.

— Вот оно как! — ответили ему обычно покорные солдаты.

— А я, я первому, кто пойдет, влеплю пулю в спину, — кричал какой-то удалец, разукрашенный несколькими знаками отличия, топая ногой, и подкрепляя свои слова весьма выразительными жестами.

Другие на это ответили:

— Мы готовы вернуться в траншеи, но только ради товарищей, которые ожидают смены, а в атаку мы уже не пойдем никогда...

Да впрочем, повидимому, предусматривая тяжелые потери, добрая половина, в день атаки остается в тылу.

— Скоты! — орал маленький пулеметчик со шрамом на щеке. — На фронте только и остались, что такие увальни, как вы.

Так говорили они, заранее уже оправдываясь и все более и более возбуждая друг друга, но никто не трогался с места.

— Слишком уж много предателей, дружище. Они удерут, а нам не сдобровать.

— Вот уж что меня действительно мало беспокоит,—ответил пулеметчик.—Ты смекни: если мы пойдем на штурм форта [1]), половина все равно будет перебита, а если откажемся итти, то, быть может, расстреляют человек пятнадцать. Я предпочитаю умереть за правое дело.

Гнев озарял это изуродованное лицо, и оно было поистине страшно: одна щека обросла бородой, другая, безволосая, — рассечена была фиолетовым рубцом, а глаза метали искры.

*

Через три дня получен был приказ выступить. Одновременно солдатам роздано было жалованье, и те, что разорились на пьянство, снова стали пьянствовать. Отправка назначалась в полночь. Приказано было явиться

---

[1]) Мельмезон. (Прим. авт.)

на смотр в полном боевом вооружении. Тут же получены были газеты: господин Рибо отверг требование социалистов о поездке в Стокгольм. Для многих это было последним ударом. Когда собрались к ужину, Тавен Дебарк сказал отцу Пласиду:

— Сегодня твоя барщина, церковный доброволец.

Пласид вымыл походные котелки и вычистил их песком и крапивой. Когда вернулся, сказал:

— Не знаю, что будет дальше, но в лагере — сущий содом. Наши удальцы отказываются строиться.

— Ну, и что же? — возразил Симон, — тебя это смущает?

Пласид, ничего не отвечая, стал разливать суп.

— Это должно было случиться, — заявил Ферран, — не правда ли, мадам?

— Ах,—ответила ему какая-то женщина, которая в этот миг с большим трудом везла мимо них тачку, наполненную мокрым бельем, — если бы видели колониальных солдат после последнего наступления, — вот это было совсем другое дело!

Пласид заметил:

— Я встретил старого товарища, который был со мной в одной роте, агента связи 2-го полка, воинствующего социалиста. Он

выходил из деревни с тремя крикунами, которые горланили: «Кончено, кончено! Довольно с нас! Смерть кровопийцам!». И лицо у него было какое-то преображенное.

Эти слова были встречены целым хором восклицаний:

— Что ты мелешь вздор? Ты спятил, ты сбесился! Он был просто пьян, как и другие — вот и все.

— Он никогда не пьет. Уже два года тому назад он говорил, что народ убьет войну, уничтожив армию.

— Тем лучше! Так будем же пить и жрать, — воскликнул Жерве. — Моя тарелка пахнет грязными носками, хоть я и не ношу носков вот уже два года.

— Это так легко понять — добавил он.— Бьюсь об заклад, что ни один патриот, если ему не меньше двадцати семи лет, не может провести в качестве простого солдата и тысячи ночей на передовых линиях, не возненавидев матушку-родину.

Но вот вечерний ветер прокатил над спящими полями какие-то горячие волны, какой-то грозный ропот.

— Началось! — вставая, воскликнул Симон.

Капрал протянул руку вперед, точно преграждая ему путь.

— Я запрещаю вам итти туда. Мы заберемся на чердак. Никто не знает, что может случиться. Мы уберем лестницу.

Ропот разрастался и с каждым мигом становился явственнее. Среди криков и свистов прорвалось пение Интернационала. Голоса становились суровее и торжественнее, и деревня дрогнула от этой песни, как от угрозы. В толпе было около пятнадцати тысяч солдат одного и того же полка. Их ярость удивляла более робких товарищей, спрятавшихся на сеновалах, но втайне гордившихся их смелостью. Во главе шли самые непримиримые. Они увозили с собою три тележки с пулеметами, чтобы эти орудия не были использованы против них же. Когда они вошли в деревню, один лейтенант, пользующийся общим уважением, погрозил им револьвером.

— Если вы не остановитесь, я буду стрелять.

Они продолжали итти, они приблизились к нему; дуло его револьвера коснулось чьей-то головы; он хотел было говорить, но человек, почувствовав холодок стали, грубо отшвырнул офицера в канаву. Тот сел и заплакал. Немного подальше полковник, окруженный кучкой офицеров, попробовал было воспротивиться:

— Остановитесь, несчастные! В каком положении...

Никто не услышал продолжения его речи, — человеческий поток захлестнул его. Это были уже не солдаты, это была рабочая масса, состоящая из смешанных элементов, — это была забастовка. Какой-то солдат кричал взводному командиру:

— Да, сегодня вы лейтенант насильников, а завтра я буду капитаном революции!

Одному превосходному капитану, общему любимцу, который тоже убеждал их успокоиться, на его слова: «Сделайте это хоть ради меня», старый солдат, человек испытанной храбрости, от имени всей роты ответил: «Ради вас, пожалуй, но не ради этого».

Он прикоснулся пальцем к разукрашенному галунами кепи. Затем, указывая на церковь и на виллу, занимаемую полковником, добавил:

— Когда вот эти тоже пойдут туда, мы вернемся.

— Нынче вечером трусы упраздняются,— говорили самые возбужденные тем, кто еще колебался. — Живо, снаряжайтесь в дорогу! Сборный пункт — в лесу. Там соединимся с соседними полками. Ну-ка, пошевеливайтесь!

Слова эти сопровождались выстрелами в воздух. Вино кружило головы. Численность

толпы ослепляла ее. Лесенкой, одно над другим, поднимались искаженные ненавистью лица, и все это вопило, что пора разбить оковы рабства.

— Сорвем с груди боевые отличия, эти подачки рабам, которым худо платят — кресты и жалкие бляхи. Долой армию! Она заставляет нас убивать наших братьев, чтобы сберечь всякую сволочь. Смерть Манжену и Нивеллю, кровопийцам!

В глубине какого-то закоулка ораторствовал чей-то голос:

— Откройте ваши уши, вы, осужденные на смерть! Слушайте, бараны, бегите от своих мясников. Спасайся, пушечное мясо! Кто бы ни был твой хозяин, он жиреет теперь за счет твоей нищеты. Если ты и вернешься домой, то лишь для того, чтобы расквасить себе нос о решотки их дворцов.

Какие-то одержимые рыскали по овинам с оружием в руках. Под навесами крыш свистали пули.

★

— Они — сумасшедшие, — говорил Тавен Дебарк.

Клод думал: «Если эти бараны обезумели до такой степени, то только потому, что им слишком долго пришлось страдать попусту».

— Хоть бы они нас нашли! Мне хочется поглядеть на них, — повторял Жерве.

Симон твердил:

— А я, я хочу, чтобы они увели нас силой.

— Эй, Симон, заткни-ка глотку! — прикрикнул Тавен.

— Вот уже три года, что они издеваются над нами так, как, я думаю, никто никогда не издевался с тех пор, как существует этот мир. Сотни тысяч людей погибли понапрасну.

— Смело можно сказать, — полмиллиона.

— А мы торчим здесь, как какие-то колбасы. А мы оправдываем их во всем. Трусы мы все! Да, да, мы все трусы!

И, вскочив на ноги, он крикнул:

— Что вы скажете на это, трусы?

В вонючем чердаке воцарилось молчание. Люнан думал о своем брате и матери.

Толпа мятежников удалялась. Она была уже на другом конце деревни.

— Я остаюсь ради своего ребенка. Трусы!

Никто не ответил. Шум бунта затихал где-то в отдалении. На дороге гулко прозвучали чьи-то шаги. Потом пушечный гром снова овладел ночной тишиной. Многие как будто удивились этому, — точно война уже была кончена. Когда наступил час отправки, человек пятьдесят — жалкие остатки батальона — собралось вокруг офицеров, и все почувствовали себя виноватыми. На рас-

свете этот отряд приближался к Суассону в сопровождении обозов, вереница которых казалась теперь такой непомерно-длинной, что прохожие, попадавшиеся на пути, смотрели на солдат, как на людей, случайно уцелевших после какой-то чудовищной катастрофы. Двигались в полном молчании, слышно было только поскрипывание осей, да окрики обозных. По ту сторону Энской долины темнели верхушки снова отвоеванных французами холмов, обезображенные развалинами. Там, за ними, шла беспрерывная война. Сюда едва доносился ее затихающий грохот. Вдоль дороги, обрамленной деревьями, еще хранящими следы прежних увечий, окопы первой зимы почти исчезали уже под густым покровом трав.

★

Мятежники, соединившись в лесу, организовали демократическую республику на военную ногу. От каждой роты выбрано было по два солдата — капралы не могли быть избираемы — которые были уполномочены собирать с'естные припасы и распределять их между всеми поровну, соблюдая экономию. Все вопросы решались голосованием. На следующий день группа офицеров их полка явилась к ним для переговоров. Делегаты выступили вперед, и один из них сказал:

— Да, господин капитан?

На это последовал непривычно добродушный ответ:

— Не называй меня капитаном, зови меня просто товарищем. Мы всем сердцем с вами. Но что толку упорствовать? Надо итти на смену тем, что ждут нас на передовых позициях. Мы обещаем вам, что полк займет только окопы и не пойдет в атаку. Мы просим вас уговорить товарищей.

Но когда делегаты обратились к товарищам, вместо ответа посыпались ругательства:

— Чего тут рассуждать? Ясно, вы — предатели. Продались начальству. Довольно с нас этого!

Значительная группа непримиримых настаивала на том, чтобы двинуться на Париж, предварительно соединившись в Суассоне с 17-м полком и обеспечив себя с'естными припасами в Виллерс-Коттре.

— Чтобы подольше продержаться, прежде всего надо быть сытыми.

Однако влияние новоявленных начальников было настолько сильно, что им удалось положить конец этим крикам и удалить красные знамена. Редко когда выборные так чутко прислушивались к желаниям своих выборщиков, без всякого намерения подловить их, и так страстно и в то же время беско-

рыстно хотели быть исполнителями их воли. Они думали, что военная дисциплина должна упрочить успех их восстания. Но случилось по-иному: добрая половина покинула их. Когда этот забастовавший батальон был остановлен в пути своими собратиями по несчастью из 5-го пехотного полка, делегаты, скрестив руки, подошли к пулеметам.

— Как, вскричал начальник отряда — майор, — вы думаете, что мои люди?..

— Да, мы уверены в этом, — сказали они. — Если у них не хватает смелости на то, чтобы взбунтоваться, то все-таки думают-то они так же, как и мы. Да, думают они так же, как и мы.

Самым забавным явлением в этой великой смуте умов было напутствие священника, до крайности изумленного их спокойствием.

— Отлично! Вы выиграете дело. Продолжайте манифестировать, соблюдая дисциплину. Моя дивизия поступила точно так же, отказавшись вторично итти на позицию. Ее точас же сменили.

Их окружала общая симпатия. Они со всех сторон оцеплены были гусарами, но солдаты из запасных полков, из команды телеграфистов, из автомобильной роты снабжали их хлебом, консервами и деньгами.

Продовольственные запасы и дух сопротивления постепенно оскудевали и иссякли

одновременно к вечеру третьего дня. Обсудив предварительно свое положение и не желая отдавать никого из товарищей в жертву правосудию, они поручили какой-то женщине сообщить кавалерийскому полковнику, что они сдадутся завтра поутру. Полковник сказал этой женщине:

— Вы должны быть довольны, — наконец-то вы избавились от них.

— Господин офицер, — ответила она, — вот уже три года, как у нас стоят солдаты, и ни разу еще мы не видели таких милых. Они подыхают от голода, они едят крапиву, а вы можете оставить у себя на столе вино и корку хлеба и уйти из дома, не закрыв двери, и никто к ним не притронется. Никогда еще мы не видывали таких.

Сдача произошла на рассвете. Все они были вычищены, вылощены, безукоризненно опрятны и — небывалый случай за все время войны! — все четыреста человек одновременно побрились.

Они выстроились по четверо в ряд, по ротам, и приближались стройной колонной, — казалось, на вас надвигалась какая-то стена молчания. Очевидцы рассказывали, что сердце сжималось от жалости при виде этого медленного шествия, в котором плакало столько честных людей.

ОСУЖДЕННЫЕ

> Судебная обстановка, его окружавшая, внушала ему высокое понятие о правосудии. Проникнутый почтением, подавленный страхом, он готов был уверовать в свою виновность.
>
> А. Франс.

Наспех переформированный полк занял сектор между Лаффо и Филеном, но атаки так и не было. Люнан, находившийся под командой Тавена Дебака, уже в течение тридцати шести часов дежурил на телефонном посту во второй линии, как вдруг Тавен, не говоря ни слова, дернул его за рукав и передал ему телефонную трубку. Люнан услышал:

— Солдат Клод Люнан вызывается в качестве защитника по делу мятежников 600-го полка, обвиняемых в подстрекательстве к бунту.

— Подстрекательство и бунт? Как так?

— Преступление, караемое смертью, — добавил голос.

Клод отшвырнул слуховую трубку, — она точно огнем опалила ему руку. Ударив по столу каской, он воскликнул:

— Никогда! Нет уж, довольно с меня!

Тавен пристально поглядел на него. Клод продолжал настаивать:

— Нет, нет и нет! Подстрекательство к бунту?! Преступление, караемое смертью! Армия одновремено является и судьей и заинтересованной стороною. Не было тут никаких подстрекательств.

— Правильно, — перебил его Тавен, — правильно!..

Уважение, которым пользовался этот капрал, было обусловлено не чином, а нравственным его превосходством. Строгость его была поистине жестока:

— Ты обязан отправиться туда — так надо. Я буду презирать тебя, если ты откажешься. Ты, значит, заранее соглашаешься, чтобы их осудили на смерть, да?

Клод Люнан не отвечает ни слова. Он пристегивает к ремню коробку с противогазной маской, надевает забрызганный грязью шлем, засовывает в сумку свои пожитки и, не мешкая, такой, какой есть — обросший, не бритый в течение целой недели, в рубашке, наполненной вшами,—пускается в путь, пылая благородным гневом, поклявшись вырвать виновных из когтей смерти. «Несчастные! — думает он. — Несчастные!»

Яркий свет, ослепивший его, когда он вышел из подземелья, наполнил его какой-то

сладострастной радостью. Солнечная ласка отогревала бока. Тело снова обрело прежнюю гибкость, взгляд сделался увереннней. Под таким небом возможно ли было верить в смерть?

— Смелей, не унывай, надейся.

Внизу под ним мелькали фигуры солдат, — дежурные, ходившие за супом, медленно взбирались по крутым склонам. Поблескивали новые котелки, караваи хлеба казались слитками золота. На узкой тропе эти ребята преградили ему путь. Они решили передохнуть и расселись где попало.

— Ну, телеграфист, как дела?

— Так себе, а у вас как?

— Много перемен после Кёвра. Масса новичков, которых никто не знает.

Все они, в своих отрепьях, среди этих жбанов, хлебов и котелков, расставленных на крутой тропке и для равновесия кое-как придерживаемых какими-то палками и камнями, напоминали табор дикарей. Куртки были распахнуты, грудь обнажена. По загорелым бронзовым шеям струился грязный пот.

— Чем мы лучше бунтовщиков, старина?—сказал какой-то молодой солдат старшему товарищу.

Завязался спор о последствиях бунта. Одни полагали, что бунт помешал атаке, и радовались этому; другие, показывая на окру-

жающее их безлюдное и неукрепленное пространство, утверждали, что никто и не помышлял об атаке сектора, защищенного с неприятельской стороны такими оборонительными сооружениями, «что там можно было бы продержаться целых сто лет». И Клод, продолжавший свой путь, услышал недовольный голос молодого солдата:

— Самый корявый участок на всем фронте, — вот все, что выиграли этим бунтом.

— Что ж, надо было бастовать, как другие, если тебе не нравятся корявые участки, — оборвал его старый солдат.

После краткого дознания две трети бунтовщиков упрятаны были в лагерь для военнопленных, где их и продержали в течение двух месяцев. Наиболее подозрительных, против которых, однако, не было достаточных улик, отправили в колонии, а тридцать два человека попали под суд по обвинению в подстрекательстве.

— Преступление, караемое смертью! — повторял Клод, разбирая папки с делами, в которых не было никаких улик. Он весь дрожал. Размахивая руками, возмущаясь, негодуя в простоте души, он воскликнул:

— Как же это военная юстиция, обычно с остервенением отстаивающая только голые факты, всегда пренебрегающая их психологической подоплекой, как будто речь идет

о наказании не людей, а животных, смеет теперь так явно отрекаться от своих принципов и предполагать возможность преднамеренности в факте бесспорно стихийного порядка, столь же непроизвольном, как взрыв! Это противоречие возмущает меня.

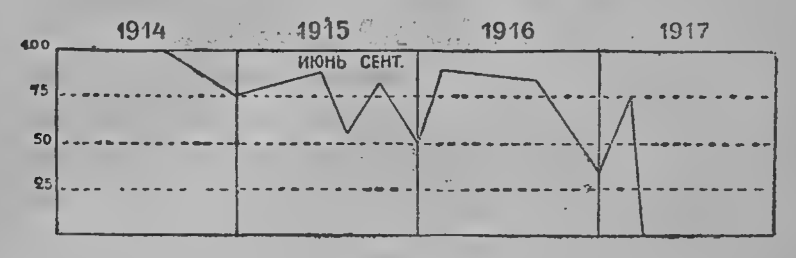
Он продолжал с возрастающей запальчивостью:

— Это не так, это не так! Да, бунтовщики, но отнюдь не подстрекатели. Я знаю этот полк. Там не было зачинщиков: зачинщики находились в грузовиках 129-го и 36-го полков.

— Вы точно уже выступаете перед судом, — насмешливо улыбаясь, заметил какой-то лейтенант, тоже защитник.

А Клод упрямо продолжал:

— Мы вынуждены будем рассказать, чтобы доставить удовольствие суду, каким роковым сцеплением обстоятельств для этого полка, как и для десятков других полков, подготовлялось уже с 1914 года это восстание. Вот какой кривой характеризуется моральное состояние наших войск:



Лейтенант-докладчик, увидав это, улыбнулся отеческой улыбкой.

— Полно, мсьё, сказал он, — вы же не можете не знать, что процесс этот должен носить показательный характер.

Писцы, защитники и чиновники предусмотрительно молчали.

Клод Люнан уже почувствовал, что чисто-человеческие доводы здесь бессильны, но рассудок его кипел жаром возмущенного сердца. Он продолжал с подкупающей искренностью:

— Дай бог, чтобы наши генералы и чтобы все французы были так же до конца верны своему долгу, как эти бунтовщики.

— Вот эти, — сказал секретарь, указывая пером на папку с делами, — не представляют особого интереса.

— Все несчастные достаточно интересны.

— Все это по большей части скоты. Закваска-то у них дурная.

— Этак легко рассуждать. Обратитесь к их воспитателям. Учтите все неисполненные обещания, все пред'являемые к ним требования, их жертвы, а потом уж судите о последствиях. Разве их вина, что война затянулась так долго? У них не было этой «дурной закваски», о которой вы говорите, до Артуа, до Шампани, до Вердена, до Соммы, до рокового Краонна.

«Господи», думали другие защитники, «ведь он, пожалуй, и перед судом выступит с такой же несуразной и грубой речью и только повредит нашим подзащитным».

★

Целых четыре дня в здании суассонского суда кипело оживление и раздавались окрики, обращенные к сторожевому пикету, приставленному для охраны этого чрезвычайного трибунала, где подчиненный представал пред своим господином и профессионал судил своего подручного и собирался покарать его за вину, причиной которой был он сам — плохой военачальник.

Судьи с трудом изображали на своих лицах бесстрастие, и только председательствующий полковник, вдохновленный сознанием своей неограниченной власти и, по всей вероятности, сознанием честно исполняемого долга, показал, что умеет вести заседание чисто по-военному. Дело это было для него заранее уже решено: прения излишни — сколько людей, столько смертных приговоров. Вот и все. Все тридцать два обвиняемых в первый раз в жизни предстали перед судом, и теперь, окруженные важными жандармами, занимая места на скамье подсудимых, чувствовали себя совсем униженными.

Во время чтения обвинительного акта, по мере того как назывались имена, изменялись лица. Какое-то отупение сковывало их огрубелые, внезапно состарившиеся черты. Их глаза не смели уже смотреть, их мозги не дерзали уже мыслить. Была ли то игра света, или игра воображения, или потрясающая душу действительность, — но бугры на черепе у них как-то выпуклились, впадины на висках и морщины стали как будто еще темнее, и все это придавало им какой-то и впрямь подозрительный вид. Глядя на этих людей, которые выглядели такими несчастными, виноватыми, угнетенными и заранее уже лепетали какие-то извинения, совершенно необ'яснимым казался взрыв их недавнего возмущения, а вспоминая его во всех подробностях, нельзя было не ужаснуться тому могуществу, какое имеет закон над теми, кто хочет освободиться от его власти. Некоторые из них утверждали, что война внушила им такой непреодолимый страх смерти, что они уже никак не могли заставить себя итти на гибель, как пошли бы в прежние дни во имя долга. Во всяком случае первый обвиняемый выступил с весьма мужественной защитительной речью, и даже сам председатель, казалось, был растроган ею. Отказавшись отвечать на вопросы, которыми его осаждали

со всех сторон, обвиняемый приблизился к судьям и сказал:

— Если это нужно искупить смертью, то я предлагаю себя вместо всех других, — я готов пожертвовать собою ради товарищей.

Когда человек произносит такие слова перед своими судьями, он сразу вырастает в их глазах. Какой-то трепет пробежал по залу суда, и всем присутствующим захотелось плакать.

★

По правую руку от судей сидели защитники; их было семеро и среди них офицерские чины и простые солдаты, при чем пять человек были из того же полка. Их робкие, неуклюжие движения, их потертые мундиры, так напоминавшие мундиры бунтовщиков, весьма наглядно показывали, насколько сознание иерархической зависимости может ослабить права защиты. Они глядели на своих подзащитных, бросавших на них умоляющие взгляды, в то время как председательствующий полковник, продолжая допрос, орал во все горло:

— С такими нахалами, как вы, не рассуждают, а попросту ставят пулеметы и стреляют в самую гущу.

Показания свидетелей прерывались грозными выкриками:

— Вы были неправы: вместо того, чтобы спорить, я взял бы револьвер и влепил бы ему пулю в глотку.

Защитники, устыдившись, наконец, своего молчания, сговорились между собой и письменно изложили свои заключения. В них дословно приводились замечания председателя, противоречащие правилам ведения судебных заседаний, и пред'являлось к суду требование о составлении соответствующего акта [1]). Прочитав это, полковник побледнел от изумления и гнева. Почему защитники в этот миг, кроме жгучего, чисто человеческого удовлетворения, испытали подлинную революционную радость? Но судьи, удалившиеся для совещания, весьма скоро вернулись в зал и ответили на заявление защиты отказом. Клод Люнан, скрестив на груди руки, не скрывая своего негодования, замотал головой:

— Чудовищно, — повторял он — чудовищно!

Председатель продолжал еще с большим остервенением:

— А вы, вы, когда бунтовали, горланили больше всех. Я вижу у вас на груди боевой крест, я вижу по вашему делу, что до этого

---

[1]) См. Архив Военного суда 170-й дивизии июнь 1917 г. Прим. авт.

дня вы были храбрым солдатом, ваше имя было дважды отмечено в приказах.

— Да, господин полковник.

— Поэтому вы вдвойне виноваты.

Другой обвиняемый попробовал было оправдаться:

— Господин полковник, два года тому назад убиты были двое моих братьев. По закону я имел право уже не быть на фронте. Я много раз ходатайствовал об этом, но безуспешно. Жена моя лежит в больнице. У меня семеро детей на руках.

— Тот, кто потерял на войне двух братьев, должен думать только о том, как отомстить за них.

Из глубины зала к скамье, где сидели защитники, пробежал какой-то, почти неуловимый, но грозный трепет. Клода Люнана охватило трагическое отчаяние. Некоторые из обвиняемых попали под суд только потому, что у них были капральские нашивки и, как старшие солдатские чины, они должны были отвечать за проступки своих товарищей. Большинство было об'явлено зачинщиками смуты на основании того доверия, которое было оказано им при выборах, в те дни, когда они организовались в лесу. Другие обвинялись в подстрекательстве к бунту потому, что, будучи в то-время в нетрезвом состоянии, буянили боль-

ше всех. Были, наконец, и такие, которые попросту расплачивались за прежнюю свою дурную репутацию, при чем обвинение основывалось примерно на таких данных: «хитер и слишком умен для того, чтобы выскакивать вперед. Когда увидел проходящих мимо него бунтовщиков, — сказал: Мы будем трусами, если не последуем за ними».

Люнана возмущало это обвинение:

— Ему грозит расстрел за то, что он хитер и умен. Он вел других, следуя за ними? Успокойся, успокойся, мой друг! Быть не может, чтобы тебя приговорили к смерти!

Второму его подзащитному вменялось в вину то, что он кричал во все горло: «Вперед! Вперед!». Свидетели видели, как он тащил тележку с пулеметом. Но ведь не он один, а пятнадцать человек тащили такие же тележки. Люнан требовал, чтобы привлекли к суду и всех остальных. Да к тому же этот обвиняемый, согласно свидетельским показаниям, так перепился в тот день, что едва держался на ногах. На третьего его подзащитного начальство указывало, как на социалиста. За отсутствием других улик, прокурор ссылался на письмо обвиняемого к жене, написанное им после допроса, и напирал на следующую фразу: «Что ж, тем хуже! Мне уже опротивело все это, мне не-

чего больше защищать. До войны я работал в Германии. Там труд хорошо оплачивается. Ты же знаешь, — моя родина там, где всего лучше платят».

★

В перерывах к защитникам то-и-дело подходили весьма изысканно одетые солдаты в мундирах, разукрашенных значками каких-то неведомых полков, и задавали им примерно такие вопросы:

— Неправда ли, полковник пересаливает? Действительно есть чему возмутиться. Неужели вы думаете, что можно приговорить человека к смерти вот так, без всяких улик? Какое впечатление это произведет в армии?

Защитники отвечали им весьма уклончиво, а между собой говорили:

— Агенты охранного отделения, шпики, мерзавцы!

— Мы живем в XII веке.

— Будем молчать, а не то нас примут за бунтовщиков.

— Вот так способ вести войну!

— Если вы хотите знать мое мнение, — сказал Люнан, — то, по-моему, все это дело кишит шпиками. Все, начиная с появления грузовиков с солдатами, что и было настоящим подстрекательством к бунту, кажется

мне заранее подстроенным. Запрещение собираться после девяти часов, — ведь сами офицеры смотрели на это, как на призыв к бунту! Потом об'является приказ явиться на смотр в полном боевом вооружении. В полном боевом вооружении, — да ведь этого никогда еще не бывало у нас в полку. Потом с большим запозданием раздается жалование. Все, все, точно нарочно устраивалось так, чтобы грянул, наконец, этот взрыв.

На это один из защитников, лейтенант, заметил, что видел среди манифестантов какого-то незнакомого солдата, который, когда его отвели в сторону, пред'явил карточку агента охранного отделения.

— Что ж, это вполне возможно, — сказали другие защитники. — Прокурор — и тот жалуется, что его осаждают шпионы.

По мере того как его товарищи в своих защитительных речах исчерпывали все оправдательные доводы, Клод, обдумывая свою речь, чувствовал, как постепенно меркнут все его построения и образы. Какое доказательство выдвинуть, как вскрыть основные причины, тайные мотивы, как предотвратить это неотвратимое, уже предрешенное наказание? Смятение судорожно подергивало его рот, нетерпение искажало его черты. Он с тоской спрашивал себя, какие же слова

сорвутся с его уст? Он слышал, как бьется его сердце.

— Слово принадлежит защитнику Люнану.

Он встает, как лунатик. Он окидывает взглядом судилище. Бесстрастие. Молчание. Надо растрогать этих людей. Придется говорить пошлости. Он овладевает вниманием судей, указывая на то, как тягостны их обязанности, он взывает к их совести. Он обращается к человеку, а не к офицеру. Неужели они решатся приговорить к смерти этих несчастных на основании таких призрачных улик?

— Все они бунтовали, все они виноваты, но подстрекателей среди них нет и не должно быть смертных приговоров.

Постепенно воодушевляясь, он сухо и четко по пунктам разбивает данные обвинения, пренебрегая общепринятыми формулами, как молотом выковывая слова и подкрепляя их выразительными жестами.

— А это письмо, — единственный довод в пользу обвинения! Ведь оно было написано уже после обвинения. Но если бы даже оно было написано неделю тому назад, неужели вы усмотрели бы в нем признаки подстрекательства? Неужели вы оцениваете его как доказательство, как неоспоримое доказательство, или хотя бы как достаточно веское

доказательство? По чистой совести, можете ли вы утверждать, что этот человек заслуживает смерти?

Перейдем теперь к Ориё, к этому бесноватому. Каждому свидетелю я задавал один и тот же вопрос. «Способен ли этот солдат увлечь за собою товарищей?». Первый свидетель ответил: «Нет». Второй свидетель ответил: «Нет». Третий и последний ответил: «Нет». Тогда я задал им следующий вопрос: «А в частности, в тот день, в день бунта, был ли он в состоянии вести за собою товарищей?». И опять трижды услышал все тот же ответ: «нет». А ведь на этих свидетелей ссылается обвинение и, кроме их показаний, против этого несчастного нет ровно никаких улик.

От нас именем Франции требуют казни этих преступников. Это удивляет меня. Я в свою очередь тоже ссылаюсь на Францию, на Францию вдов и сирот, а также на Францию, военную и судебную, у которой нет ничего общего с увенчанной каской Германией, потому именно, что это Франция. Неужели вы думаете, что у нее хватит духа на столь печальный подвиг, как требование расстрела этих несчастных? Разве вы не слышали ее голоса в словах моего товарища Домирана: «Жалость, жалость и только жалость к великой солдатской нужде»?

И тотчас же другой защитник, долговязый Батиа, тоже простой солдат, выступавший до Люнана, попросил слова и, сразу преобразившись, снова стал говорить. Он напомнил суду мужественную выносливость и доблестный дух этих манифестантов, которые даже в последнюю минуту мятежа проявили такую поразительную дисциплину и теперь только и хотели одного — искупить свою вину под неприятельским огнем. Это был последний призыв — истинно-патетический выкрик. Стены, казалось, становились все теснее и теснее и не могли уже вместить всей накопившейся в них человеческой тоски. Судьи не сразу поднялись со своих мест. В зале царило глубокое молчание, которое можно было истолковать как оправдательное решение.

. . . .

Семнадцать обвиняемых были приговорены к смерти; остальные к пятнадцами годам каторжных работ. Семеро из обреченных на смерть осуждены были единогласно.

★

Защитники отправились в тюрьму, чтобы успокоить своих товарищей. Тот, кого Клод надеялся спасти, ссылаясь на свидетельские показания, был приговорен к расстрелу

тремя голосами против двух, точно так же, как и другой подзащитный Клода — тот самый, которого называли хитрым и умным и который воскликнул, завидя мятежников: «Мы будем трусами, если не последуем за ними!».

Первый метался по своей камере. Он от всего сердца поблагодарил Клода и спросил его, думает ли он, что их расстреляют?

— Ты-то во всяком случае не будешь в числе расстрелянных.

— Если бы я знал наверняка, что меня расстреляют, я сегодня же ночью покончил бы с собою ради моего отца.

Второй осужденный плакал. Он только что нацарапал на грязной стене:

«Нет справедливости во Франции. Мы — не преступники».

— Нет, сказал Клод, нет, бедный мой друг, не отчаивайся.

Это душераздирающее зрелище протеста наполнило Клода нестерпимой яростью.

★

На следующий день защитники, составив просьбу о помиловании, отправились к полковнику — председателю. Он тридцать два раза голосовал за смерть. И теперь, продолжая повиноваться голосу своей совести, захлопнул перед их носом дверь.

Клод Люнан утешал себя тем, что двое его подзащитных имели на своей стороне голоса двух судей. Он доверчиво обратился к остальным судьям. В то время как они с таким дружелюбным видом перелистывали его прошения, он думал: «Вот этот, я помню, на суде был растроган. Но что же это? Он не подписал? Ну, так значит другой подпишет, а если не он, то третий. Нет, последний-то наверняка подпишет!». Но последний подписал несколько прошений, не обратив внимания на те, что подал Люнан.

«Вот так штука!».

Клод потребовал обратно свои прошения и на полях в виде примечания к словам: «Осужден на смерть» написал: «Тремя голосами против двух».

Когда вернулись отправленные в Париж акты судопроизводства, всем было об'явлено помилование — всем, за исключением одного только осужденного. Приговор остался в силе не для того солдата, который предлагал себя в жертву ради других и не для того, кого защищал Люнан.

Осужденный был виноват не больше, чем сотни других, но у него не было семьи, и его некому было оплакивать. Когда его поставили перед взводом, он не позволил завязать себе глаза.

— Я никогда не отступал перед смертью,— сказал он. — Стреляйте!

К безымянному кресту, воздвигнутому над его могилой, много времени спустя пришли его друзья. Едва удерживая слезы, они твердой рукой вырезали на этом кресте надпись:

«УМЕР СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ».

ТРЕТЬЯ ЗИМА

НАСТУПЛЕНИЕ

И вот что еще я скажу,—продолжал Кир,—для ободрения солдат нет средства, более действительного, как наполнить их сердца надеждой".

„Согласен,—ответствовал Камбиз,—но надо остерегаться, чтобы не случилось при этом того, что бывает на охоте: если попусту скликать собак, то сначала-то они бросаются вперед с изумительным рвением, но стоит обмануть их таким образом несколько раз, — и они перестанут уж повиноваться".

Ксенофонт.

Пласид держал в руках крынку с молоком, Баланту кипятил в чане свое белье, Бриго играл на аккордеоне, Люнан, уволенный в отпуск, любовно плоил свой новый галстух, Жерве предавался созерцанию, Гобле мастерил стул, Симон капал стеарином свечки в складки своих штанов, чтобы уничтожить гнид. В газетах сообщалось об упорных победах русских, о румынской угрозе, об успехах нашего наступления на Сомме, о конце войны. Все были довольны.

— Полно смеяться, ребята! — крикнул новый телефонист Ферран.—Нынче вечером в путь-дорогу! Направление — Вокуа.

Все вокруг сразу померкло. Шлемы в бешенстве полетели в слуховые оконца, башмаки, пущенные со всего размаха, плюхались об стену, Баланту пихнул ногою и опрокинул чан, Пласид проглотил, вместе с молоком, чуть было не вырвавшееся у него проклятие.

— Нет в мире бога, — заворчал Гобле, выронив из рук ненужный ему уже теперь резак, — есть только дьявол!

— Я, — воскликнул Симон, — буду брататься с бошами.

Тавен Дебарк поглядел на него в упор, но не сказал ни слова.

Клод Люнан, непричастный уже ко всему окружающему, продолжал из благоразумия, с нарочитой медлительностью плоить свой галстух. Мадлена писала ему, что постарается устроить все так, чтобы они могли встретиться. О чем же можно было думать, кроме этого? А там пусть хоть весь мир перевернется! Цепляться за жизнь в такое время — право же, не стоит труда...

«Она прикоснется к этому галстуху, она, быть может, развяжет его своими горячими, страстными, неумелыми руками. Но, ты-то, поглядел ли ты на себя? Ты весь оброс щетиной. А эти обтрепанные обмотки, эти

заскорузлые руки, эти обгрызки ногтей? Он подумал было попросить у Тавена зеркальце, но не осмелился, — уложил свои пожитки в большой мешок, служивший ему постелью, бросил его на повозку и уехал.

Тыловая зона с ее сутолокой, остановки в этапных бараках, вереница беронnских вокзалов, — все это промелькнуло перед ним с какой-то кинематрографической быстротой. Он пришел в себя только тогда, когда обнял своего отца. Голос у того звучал сурово...

— У нас все обстоит недурно, но твоя мать очень уж тоскует.

«Да и он-то, — подумал Люнан, слушая его — тоже постарел».

— Я оставил повозку на том конце села, у Ла-Батилля. Я видел там твоего кузена Ле-Галля.

«Он видел Ле-Галля!»

— В наших краях трудно теперь живется. Слишком много народу нужно им для этой драки, они забирают всех без разбора.

Беронвилль дышал покоем. Солнце ровным своим светом одинаково ласкало и богатую виллу мэра и жалкий домишко шоссейного сторожа.

— Матушка твоя очень огорчается, что твой брат попал на фронте в колониальные войска. Он с Манженом.

Золоченая вывеска господина Фрикодена попрежнему зазывала приезжих, выходящих из под'езда вокзала. На окошке у сапожника красовались все тот же георгин и клетчатая красная тряпка.

— Я удручен не меньше твоей матери тем, что он попал к Манжену. Когда он приезжал к нам в последний раз, то сам дивился, как это его отпустили.

Клод волновался при мысли о тех ужасах, которые обрушатся на его брата и растлят его нежную юность, но не смел даже втайне формулировать свои опасения, боясь, что изменится в лице, и отец это заметит. А тот продолжал говорить.

— Булочник Дютрюи, который служил в той же дивизии, вернулся на прошлой неделе. Он уволен.

И после мгновенного молчания:

— Ему отрезали левую ногу.

На Дворцовой площади виднелся как-то нелепо выдвинутый вперед фасад харчевни Ла-Батилля.

За ним скрывалась группа людей, поджидавших Клода — офицер из полка спагов, элегантный и породистый, а рядом — лукавый Ле-Галль и Мадлена.

Клод по какому-то наитию угадал, что они здесь. «Возможно ли это? Ну, да, конечно, это он — Ле-Галль, всегда такой подозри-

тельный и пронырливый, придумал эту штуку».

На мгновенье присутствие отца стало ему ненавистно. «Если бы не он, я бы скрылся». Но это длилось лишь мгновенье.

Выдумка Ле-Галля вполне достигла своей цели. Для Клода это было жесточайшей пыткой. Его облупившаяся каска, отвратительная шинель, на плечах которой виднелись следы от ремней походного ранца и заскорузлые башмаки, покрытые пятнами ваксы, привлекали общее внимание. А главное, — что было досаднее всего, — их взгляды сосредоточились на его широком рукаве, сиротевшем без нашивок.

Стыд отца, смущение Мадлены, косой взгляд Ле-Галля... А напротив — этот вылощенный офицер!

— Поручик де-Панассьер, офицер запасного эскадрона 2-го полка спагов.

Отец смотрел в землю, Ле-Галь ковырял в зубах. Мадлена не шевелилась, а у него у самого от волнения пылали уши.

Подчиняясь непреодолимому влечению, она подошла к нему первая. Она не могла отличить временных следов усталости от следов уже неизгладимых, но сразу отметила те роковые опустошения, которые в этом теле произвела война — морщины на лбу, провалившиеся глаза, оттопыренные уши, тощую

жилистую шею и выпирающие на нижней челюсти желваки мускулов.

Все как-то сразу заговорили, потом вошли в харчевню. Фразы скрещивались, но слова уже утратили всякий смысл. Какой-то кипящий туман заволакивал Клода.

«Все кончено. Как она прекрасна! Ведь это ее щиколоткой я любовался, разглядывая ноги той женщины, которую я встретил у Военного Совета. Какое тонкое благородство и простота! Нет, это присутствие офицера делает ее такой надменной. Она надеялась увидеть меня с нашивками. Она?! Все кончено! Она смотрит на меня — и не видит, а рядом этот Ле-Галль, который все видит, даже не глядя. Он мастер устраивать свои дела. Она меня любит, но ей стыдно за меня... Ах, зачем этот вечный самоанализ? Спагу этому я расквашу морду, а Ле-Галя — того убью!..»

Какие-то колючие искорки пробегали у него по спине, корни волос его горели. Потом, сразу подавив сковывавшее его волнение, он угрюмо положил каску на стол, провел рукою по своим щетинистым волосам и, глядя в упор на Мадлену, сказал:

— Простите, мадам, я прямо из Вердена: там нельзя было принять душа.

И, заметив, что она разглядывает его пальцы, добавил:

— И я не захватил с собою перчаток.

Мадлена не выдавала своего смятения. Оба они подумали: «Любовь отомстит за нас». Но все-таки она мысленно спросила себя, каким бы он был теперь, если бы вымылся, побрился и надел штатское платье?

На следующий день он написал ей: «Мой друг, не станем упорствовать, — у нас не было бы ни времени, ни охоты предаваться тому, что принесло бы нам удовлетворение, а так я хоть уберегу себя от ужаса вторичного расставания с тобой». Письмо это было написано после того, как вымывшись, побрившись и переодевшись в штатское, он подошел к зеркалу и отшатнулся от самого себя. Он старался подбодрить себя: «Что ж, бывают обстоятельства, которые сильнее нас! На то и война. Но тех, кто вернется оттуда, ничто уже не сможет остановить».

Смущенный мрачностью Клода, крестный его позабыл все придуманные им хитроумные вопросы, которыми он собирался подловить своего крестника. Мать причитала над ним. Всем, кто встречал его, казалось, что и он тоже мучается предчувствием смерти. Эта неделя отпуска напоминала неожиданно распахнувшуюся дверь, захлопнувшуюся в следующее же мгновение

В Беронвилле, расцветшем благодаря военной промышленности, те же выставки то-

варов и та же игра солнечных лучей. Тишина буржуазного квартала и сутолока нового заводского квартала казались ему в равной степени оскорбительными. Во всем он подмечал только дурное, все приводило его в бешенство.

Вместо прежнего исчезнувшего торгаша, в винной лавке воцарился какой-то тип, уклонившийся от военной службы, новоиспеченный богач.

— Что ж делать, — на то и война! — сказал он. — Здорово, 600-й полк!.. — Ну, что живем себе помаленьку? А вы-то сами, как? Так себе? Чего прикажете? Божоле? Извольте, — три с половиной франка. Очень трудно добывать товар.

— На то и война, — отвечал Клод.

И то же ворчал запасной солдат, совсем осоловелый в своем тяжелом хмелю:

— Если от дряни этакого калибра я не свалюсь с ног, то и впрямь можно сказать: на то и война.

И школьный учитель, обучающий своих учеников военному строю, и верная жена, забывающая всякую скромность в лапах какого-нибудь поставщика, и промышленник, заключающий сделки, и новобранцы, сгрудившиеся в военных поездах и приглашающие молоденьких девушек посидеть у них на коленях, и эти девственницы, ра-

достно принимающие их приглашения,— все они твердили:

— На то и война, на то и война!

— Ну, конечно! — бормотал все еще неопомнившийся Клод Люнан.

Высадившись шестью часами раньше назначенного срока на Аргонском фронте, он все еще пережевывал горькую жвачку воспоминаний этой последней встречи, устроенной ему Ле-Галлем, и стоило ему закрыть глаза, как на веках, точно на экране, четко выступало гибкое и упругое тело Мадлены и особенности ее милой походки и надменная складка ее рта.

— Эй, ты! Приехали... Вот он — Вокуа,— сказал ему кондуктор.

На это последовал идиотский ответ:

— Нет бога, есть только дьявол! Я забыл даже подумать о своем ребенке.

На краю пустынной равнины возвышалась гора пепла, зияющая кратерами, просверленная подземными ходами, — так называемое Вокуа. Местные жители упорно продолжали считать это деревней. Солдаты принимали их за сумасшедших. Там нельзя было бы даже найти целого камня.

Когда-нибудь на досуге я расскажу историю Вокуа, где люди, закаленные самыми страшными испытаниями, пережили несказанные ужасы.

★

В декабре взорвалась какая-то чудовищная мина и в своем огнедышащем извержении поглотила сотню людей, из которых сорок человек были погребены заживо, не успев даже вскрикнуть, так что нельзя было ни найти их, ни представить себе их смерти. После этого полк был отозван, переведен в лагерь Виллерсексель и включен в состав штурмовых войск. Он подчинялся теперь грандиозным планам новой главной квартиры, во главе которой стоял Нивелль.

— Прослужить двадцать пять месяцев запасным для того, чтобы перейти в штурмовые войска, когда фронт не продвинулся вперед даже на десять метров! — заявил Люнан. — Нет, я хотел бы лучше родиться собакой, чем человеком!

— И я тоже, — поддакнул Гобле.

Симон не разделял их мрачности, он смеялся и уверял:

— Мы-то им не понадобимся для эксплоатации их успехов. Боши предлагают мир.

— Что же, а пока что, поэксплоатируем, — ответил Жерве, стибрив у него охапку соломы.

Настроение отрядов колебалось, переходя от тупого безразличия к иронии, от иронии

к ярости и, наконец, утвердилось на иронии, потому что перспектива, быть может, длительного отдыха располагала всех к снисходительности.

Но можно ли было представить себе все невежество Генерального Штаба в вопросах позиционной войны на третий год военных действий? Темы маневров, разработанные с сногсшибательной точностью, каждое утро свидетельствовали об этом. Каждое утро какой-нибудь сектор — намеченный в поле лакомый кусок — захватывался на широком фронте с поистине сказочной легкостью. Все было рассчитано, как по хронометру. В первые дни брали, в среднем, по две, а потом, вдохновившись, по четыре и даже по шести линий окопов в час, — и, наконец, вылощенная кавалерия вывела в поле своих коней, которых давно уже считали погибшими. Для того, чтобы опрокинуть воображаемого врага, кавалерийские взводы, на диво выстроившимся в ряды пехотинцам, пускались вперед мелким галопом, перепрыгивали через призрачные проволочные заграждения, прорывали неприятельские линии и скакали по полю, угрожающему им всевозможными мнимыми опастностями, столь лестными для их мужества. Спорить по поводу хотя бы самых нелепых планов с такого рода исполнителями было бы так же бесполезно, как пререкаться

с женщиной. Окопные солдаты, вместо того, чтобы сомневаться в Генеральном Штабе, избавляющем их от ужасов этой невыносимой зимы, предпочитали маршировать по приказу и красоваться, как на параде, да посмеиваться втихомолку. С утра уже, как следует выспавшись, напившись, наевшись, отогревшись, они раздвигали в широкую улыбку под обледенелыми усами свои смеющиеся рты. Но что же будет, однако, в то утро, когда наступит решительный, роковой час?

Гобле выразил общее настроение:

— Если у нас не будет десяти пушек, десяти аэропланов, десяти ядер, десяти солдат с танками против одного боша, — мы пропали. И что касается меня, то я отказываюсь воевать.

На это кавалеристы в своих вылощенных сапогах лишь презрительно пожимали плечами. В высших кругах утверждали, что фронт будет прорван на протяжении ста километров. Немецкая армия продолжала свертывать к весне на всем фронте свои войска, показывала, что боится нашего наступления. Она сделала атаку для нас невозможной. Но упрямство свойственно полководцам. Так должно быть, так должно будет быть, так должно было быть, — и так было. Это произошло 16 апреля.

Созванные вечером 15 апреля батальоны 600-го полка спешно покинули свои бивуаки. Никто уже не смеялся над кавалеристами.

Опять дождь поливал эти выстроившиеся по четыре человека в ряд колонны. Опять в взбудораженных мыслях благовестила надежда.

— Час настал, — говорила Главная Квартира.

— Не к чему устраивать госпиталя в тылу атакующего фронта,—утверждали командиры, — мы будем ночевать в Лаоне.

«Ах, если бы хоть на этот раз это было верно!»

У подножия Энских холмов артиллерия, малочисленная и слепая перед лицом отлично осведомленного врага, палила через головы молодых солдат последнего призыва, сгрудившихся на земле в жидкой липкой грязи. Среди них находился и Луи Люнан, брат Клода, охваченный мистическим восторгом самопожертвования.

Войсковые части арьергарда шли всю ночь, а потом остановились и стали ждать. Передовые войска сделали попытку прорвать неприятельский фронт.

Около семидесяти тысяч семей не получили уже больше известий о своих близких.

Некоторое время спустя какой-то солдат из Гергены сообщил Клоду, что его брат убит под Гюртебизом и убит французским снарядом. По деревне в этот миг проезжала артиллерия. Клоду казалось, что сердце его — на мостовой под этими тяжелыми колесами.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

33. **К. Клебер.** Баррикады.
34—35. **А. Соболь.** Салон-вагон.
36. **Б. Пильняк.** Наследники.
37—38. **А. Аросев.** Недавние дни.
39—40. **Е. Замятин.** На куличках.
41. **Г. Бергстедт.** Бегство Венеры.
42—44. **Б. и М. Гальдеман-Джулиус.** Быль.
45—48. **О. Генри.** Короли и капуста.
49. **А. С. Грин.** Золотой пруд.
50—51. **М. Горький.** Рассказ о безответной любви.
52—54. **Панаито Истрати.** Кира Киралина.
55. **Ш.-Л. Филипп.** Два апаша.
56. **О. Генри.** Поросячья этика.
57—59. **Панаито Истрати.** Дядя Ангел.
60—62. **Панаито Истрати.** Гайдуки.
63. **Генрих Манн.** Кобес.
64—67. **А. Франс.** На белом камне.
68—72. **Луи Шадурн.** Тревожная юность.
73—75. **А. Тарасов-Родионов.** Трава и кровь (Линев).
76—78. **Дж. Конрад.** Дуэль.
79—80. **М. Горький.** Сторож.
81—84. **Джемс Уэлш.** Подземный мир.
85—86. **Юрий Слезкин.** Шахматный ход.
87. **Конрад Беркович.** Киноактер.
88—90. **О. Бродерсон.** Франсен.
91. **Дж. Конрад.** Двойник.
92. **Бор. Пильняк.** Рассказ о ключах и глине.
93—97. **А. Адес и А. Жозиповиси.** Книга о простеце Гоа.
98—99. **А. Цеплис.** Маленькие волки.
100—101. **Ф. Кроммелинк.** Великодушный рогоносец.
102—103. **Пьер Милль.** Мамонт.
104—106. **Шарль Петти.** Маленький будда.
107—111. **Г. Де-Вэр-Стокпуль.** Ордер на освобождение.
112—114. **Г. Бергстедт.** Праздник Иоргена.
115. **Евг. Замятин.** Фонарь.
116—117. **Р. Эйдеман.** Степной ветер.
118—119. **Ж. Жолинон.** Холопы славы.
120—121. **Вл. Реймонт.** Поджигатель.

ЦЕНА КАЖДОГО НОМЕРА 10 КОП.